

Автономъ Булгаковъ.

---

Гр. Л. Н. Толстой

и Ф. М. Достоевскій.

Разборъ ихъ произведеній  
съ характеристикой особенностей творчества.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

—  
1910.



# Оглавленіе.

	Стр.
Національное направленіе въ литературѣ 40-хъ годовъ XIX вѣка. — Старорусская оппозиція противъ Пушкина. — Характеристика ученія славянофиловъ. — Перерожденіе славянофильства. — Связь косвенная Толстого Льва съ славянофилами . . . . .	1
Связующая черта Сергѣя Аксакова, Достоевскаго и Л. Толстого — поклоненіе почвеннымъ идеаламъ . . . . .	11
Общая характеристика таланта Льва Толстого . . . . .	13
Характеристика толстовскихъ типовъ и отношеніе къ нимъ самаго автора . . . . .	16
„Дѣтство, отрочество и юность“ гр. Толстого. — „Утро помѣщика“. — „Встрѣча“. — „Въ Люцернѣ“. — „Записки маркера“. — „Два гусара“. — „Семейное счастье“. — „Набѣгъ“. — „Севастопольскіе рассказы“. — „Три смерти“. — „Казачи“ . . . . .	26
„Война и миръ“ . . . . .	44
„Анна Каренина“ гр. Л. Толстого . . . . .	58
Характеристика творчества Ф. М. Достоевскаго и „Бѣдные люди“ . . . . .	66
Достоевскій послѣ ссылки. — Характеристика его воззрѣній. — Религіозные взгляды. — „Бѣсы“. — Нравственные идеалы Достоевскаго въ своихъ герояхъ. — Отличія Достоевскаго отъ Толстого . . . . .	68
Своеобразное превозглашеніе первенства русскаго народа . . . . .	70
Отличіе Ф. М. Достоевскаго отъ славянофиловъ . . . . .	70
Религіозные взгляды Достоевскаго . . . . .	71
Почему Достоевскій великій писатель? . . . . .	72
Легенда о Великому инквизитору . . . . .	73
Романъ „Бѣсы“ и взглядъ Достоевскаго на православіе . . . . .	74

Достоевскій не борецъ за направленіе времени 70-хъ годовъ и по возрѣніямъ приближается къ 60-ымъ годамъ . . . . .	75
Достоевскій выполнилъ задачу, намѣченную шестидесятниками и воплотилъ нравственный идеаль . . . . .	79
Отличіе Достоевскаго отъ Толстого . . . . .	80
Что было предметомъ наблюденія Достоевскаго въ произведеніяхъ своихъ? . . . . .	82
„Записки изъ Мертваго дома“ . . . . .	84
„Униженные и оскорбленные“ . . . . .	86
„Преступленіе и наказаніе“ . . . . .	89
„Бѣсы“ . . . . .	93
„Подростокъ“ Достоевскаго . . . . .	97
„Идиотъ“ . . . . .	98
„Братья Карамазовы“ . . . . .	100
Выноска къ страницѣ 13-ой . . . . .	104
Послѣсловіе . . . . .	109

---

**Національное направленіе въ литературѣ 40-хъ годовъ XIX вѣка. — Старорусская оппозиція противъ Пушкина. Характеристика ученія славянофиловъ. — Перерожденіе славянофильства. — Связь косвенная Толстого съ славянофилами.**

Эпоха сильнаго умственнаго развитія и движенія въ 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія выдвинула цѣлую фалангу писателей, проникнутыхъ любовью къ родному складу русской жизни и къ особому родному идеалу, присущему этой жизни въ политическомъ, социальномъ и религіозномъ отношеніи. И, поразительно, это національное направленіе въ свою очередь навѣяно было съ Запада. Въ числѣ элементовъ, вошедшихъ въ составъ западнаго романтизма былъ одинъ, довольно долго почти отсутствовавшій въ нашей литературѣ — элементъ національно-патріотическій. Во Франціи и Германіи, благодаря тому, что эпоха наполеоновскихъ войнъ привела сперва къ порабоженію Германіи, а потомъ къ ниспроверженію французскаго господства въ Европѣ, національное движеніе выразилось, какъ идея объединенія—въ Германіи, какъ идея отмести, реванша—во Франціи. У насъ же, разумѣется, ничего подобнаго оказаться не могло, потому что наша борьба съ Наполеономъ не только не привела къ пораженію Россіи, а, напротивъ стала главной эпопеей нашей военной исторіи. Стало быть, намъ не о какомъ возстановленіи народнаго единства и народной самостоятельности мечтать не приходилось. Отголоски русскихъ побѣдъ звучатъ, правда, иногда у нашихъ романтиковъ—у Жуковскаго, Пушкина, Лермонтова, — но звучатъ лишь изрѣдка, какъ бы мимоходомъ, потому что бряцаніе оружіемъ и военные клики вообще мало свойственны русской натурѣ. Таковы стихотворенія: „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“ Жуковскаго, „Полководецъ“,

„Бородинская годовщина“, „Клеветникамъ Россіи“ Пушкина, „Бородино“ Лермонтова. Было, правда, и у насъ литературное направленіе, опередившее даже появленіе романтизма и задававшееся прославленіемъ нашей старины, притомъ старины и по отношенію къ самой формѣ литературной рѣчи. Не безызвѣстно, съ какимъ упорнымъ протестомъ критики этого направленія встрѣтили поэзію Пушкина, усматривая въ удивительной простотѣ его языка какое-то посягательство на русское слово. Это направленіе, однако, ничего общаго не имѣло съ тою національною струей, которою проникся нашъ западный романтизмъ 20-хъ годовъ. Оно проявлялось исключительно въ области формы языка и выступало съ такими узкими, закорузлыми понятіями, съ такимъ полнымъ отсутствіемъ таланта, что какого-либо ощущительнаго вліянія на литературу оказать не смогло. Мудрено и трудненько-таки, въ самомъ дѣлѣ, было убѣдить русскаго читателя, что и языкъ Пушкина и мотивы его творчества не менѣе національны, чѣмъ торжественная лирика Державина и тяжеловѣсные періоды до-Пушкинской прозы. Не доставало, впрочемъ, тогдашнимъ защитникамъ нашей старины самага главнаго—того воодушевленія, безъ котораго никакая пропаганда не дѣйствительна, и которое, въ свою очередь, находитъ себѣ источникъ лишь въ страстномъ національномъ чувствѣ. Для проявленія же такого чувства не имѣлось въ то время достаточнаго повода: не могло оно, въ самомъ дѣлѣ, зажечься отъ воспоминаній о московскомъ періодѣ нашей исторіи и о нашей литературѣ позапрошлаго столѣтія. Первыя рисовали намъ картины замкнутаго полуазіатскаго быта,— Домострой, казни Іоанна IV, затворничество женщинъ, лихоимство воеводъ и приказовъ; вторыя снабжали насъ образцами напыщеннаго слога, который на половину сотканъ былъ изъ церковно-славянскихъ, на половиину изъ иностранныхъ словъ. И то, и другое особаго энтузіазма возбудить не могло.

Воспоминанія, правда, были у насъ и иного рода—вѣчевой колоколъ, новгородская вольница и казачество, и нельзя отрицать, что все это вполне годилось, какъ матеріалъ для поэтическаго вдохновенія. Во первыхъ, все это было не совсѣмъ удобно въ цензурномъ отношеніи.

Во-вторыхъ—и это главное — національное чувство, какъ элементъ литературнаго творчества, можетъ ухватиться лишь за такія явленія историческаго прошлаго, которыя выражаютъ собою главную господствующую струю народнаго развитія. Между тѣмъ упомянутыя явленія стояли въ оппозиціи къ главному центру нашей исторической жизни—къ Москвѣ и въ концѣ концовъ должны были исчезнуть, подавленныя ею. Прославлять такія воспоминанія значило, стало быть, отрицать самый ходъ русской исторіи, становясь на сторону противниковъ ея главнаго, ея наиболѣе крупнаго созданія—объединенія русской земли. Не стоитъ доказывать, что такое настроеніе было бы какъ разъ антинаціональнымъ. Въ нашемъ историческомъ прошломъ, какъ сложилось это прошлое при торжествѣ Москвы, оно не нашло бы пищи для сочувствія и увидѣло бы въ немъ поводъ къ безплоднымъ и унылымъ сѣтованіямъ.

Что же за причина, что московская старина, лишенная всякаго поэтическаго обаянія, все таки сдѣлалась предметомъ увлеченія? Какимъ образомъ въ такую эпоху, какъ сороковые года прошлаго столѣтія, эта старина, на которой лежалъ отпечатокъ невѣжества и застоя, могла воодушевить собою цѣлую группу высокообразованныхъ и талантливыхъ людей? — Произошло это по двумъ причинамъ.

Москва была, если не побѣждена, то, по крайней мѣрѣ, отодвинута на задній планъ новой столицей и усвоенными ею внѣшними формами европейскаго быта. Русскій народъ, восторжествовавшій надъ всѣми своими врагами, включившій въ составъ огромнаго русскаго государства цѣлый рядъ чужихъ національностей, въ нравственномъ отношеніи оказался побѣжденнымъ. Высшіе его классы отшатнулись отъ роднаго склада жизни, сбросили національную одежду, отступились отъ многихъ изъ обрядовъ національной религіи, перестали даже говорить на родномъ языкѣ. Населеніе покоренныхъ окраинъ не только не сливалось со своими побѣдителями, но обнаруживало явное презрѣніе, ко всему, что носило на себѣ національно-русскій отпечатокъ. Господствующая народность оказывалась, такимъ образомъ, въ положеніи народности какъ бы подавленной; ея обычаи, ея вѣра и языкъ становились какъ бы

принадлежностью низшей расы. Эта поразительная аномалия долго не примѣчалась вслѣдствіе того, что носителями просвѣщенія были исключительно люди изъ того высшаго класса, который пересталъ жить и мыслить по-русски. Чтобы въ русскомъ обществѣ пробудилось сознание неестественности такого порядка вещей, нуженъ былъ новый толчекъ съ Запада. И толчекъ этотъ былъ данъ въ 30-ые годы прошлаго столѣтія, притомъ въ двоякой формѣ.

Тридцатые годы прошлаго столѣтія были эпохой возбужденія сильнаго національнаго чувства повсюду, гдѣ имѣлись угнетенныя народности, находившіяся въ зависимости отъ иноплеменныхъ покорителей, либо тамъ гдѣ народности, единыя по крови, были политически разъединены. Движеніе приняло вслѣдствіе этого характеръ стремленія къ независимости въ первомъ случаѣ, стремленія къ единству—во второмъ. Оно заключало въ себѣ много данныхъ для внутренняго противорѣчія, потому что то самое чувство, которое въ покоренномъ меньшинствѣ, какъ въ Ирландіи, Бельгіи, Венгріи, вызывало желаніе сбросить съ себя чужое господство, внушало большинству желаніе этого господства упрочить и расширить. Въ то же время не замѣчали этого противорѣчія, и борьба за освобожденіе однихъ казалась такою же симпатичною, какъ усилія другихъ сплотиться въ одно политическое цѣлое. Во всякомъ случаѣ, оба стремленія носили на себѣ явный революціонный характеръ, такъ какъ оба они въ одинаковой мѣрѣ шли наперекоръ политическому устройству Европы, созданному Вѣнскимъ конгрессомъ.

Съ этимъ политическимъ движеніемъ одновременно происходило и другое, въ мирной области философіи, движеніе не столь шумное, но одинаково значительное по своимъ послѣдствіямъ, такъ какъ оно придавало первому внутреннее содержаніе и смыслъ.

Ученіе Шеллинга и Гегеля—такъ называемая школа нѣмецкаго объективнаго идеализма — впервые попыталось опредѣлить формулу историческаго развитія каждаго отдѣльнаго народа, выводя эту формулу не изъ внѣшнихъ признаковъ политическаго устройства, а изъ внутренняго роста народной жизни. Каждый историческій народъ, подобно этой формулѣ, признавъ осуществить присущую



ему идею, и эта историческая роль обеспечивает за нимъ право на самостоятельность. Этимъ признакомъ, то есть постепеннымъ развитіемъ и осуществленіемъ идеи, историческіе культурные народы и отличаются отъ неисторическихъ. Такое понятіе о національности и о государствѣ, какъ высшей формѣ народной жизни, было совершенно чуждо философіи XVIII вѣка. Не безызвѣстно, критицизмъ восемнадцатаго столѣтія имѣлъ лишь дѣло съ отвлеченной человѣческой личностью, повсюду и всегда равной самой себѣ, то есть одинаково способной устроить свою жизнь согласно требованіямъ разума. Народъ съ этой точки зрѣнія являлся лишь случайнымъ агломератомъ единицъ, связанныхъ между собою договоромъ, и права этого народа вытекали не изъ его исторіи, а изъ прирожденныхъ каждому человѣку совершенно одинаковыхъ естественныхъ правъ. Шеллингъ и Гегель, разставаясь съ этимъ чисторационалистическимъ міросозерцаніемъ, видѣли, напротивъ, въ каждомъ народѣ продуктъ историческаго процесса и потому допускали въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ большое различіе въ формахъ общественнаго устройства. Ученіе это несомнѣнно представляло значительный шагъ впередъ, такъ какъ въ разнообразіи историческихъ явленій оно видѣло не результатъ случайностей, а плодъ медленнаго процесса и объясняло эти явленія не посредствомъ абстрактной логики, а путемъ анализа конкретныхъ историческихъ фактовъ. Признавая законность каждаго историческаго явленія самого по себѣ, оно въ существѣ своемъ было, конечно, консервативнымъ, такъ какъ не противопоставляло дѣйствительности никакого отвлеченнаго и абсолютнаго идеала, но признавало оно въ то же время за каждой народностью и право на самостоятельную жизнь, а тѣмъ самымъ вело къ усилению народнаго самосознанія. Посягательства на независимость отдѣльныхъ народовъ не всегда совершались во имя отвлеченной логики и непризнанія историческихъ правъ: часто они были дѣломъ простаго насилія, не освѣщеннаго никакимъ принципомъ. И во всѣхъ такихъ случаяхъ—а въ Европѣ ихъ было довольно много—ученіе нѣмецкихъ философовъ, при всемъ своемъ консерватизмѣ, прямо вело къ революціи, такъ какъ во имя исторіи оно подстрекало къ ниспроверженію такого

порядка, который насильственно включалъ въ одно политическое тѣло различныя національности, или одну и ту же національность столь же насильственно разъединялъ.

Все это не могло не отразиться и у насъ. Мы не смогли быть лишь свидѣтелями событій и явленій того времени, и стали активными участниками. Долго дремавшее русское самосознаніе наконецъ пробудилось. Русскимъ, правда, не было повода жаловаться на разрозненность отдѣльныхъ частей своего народа, или на то, чтобы которая либо изъ его отраслей находилась подъ чужестраннымъ игомъ. Если съ внѣшней, матеріальной стороны русскій народъ представлялъ нѣчто въ высшей степени законченное, то въ нравственномъ, культурномъ отношеніи онъ подвергался унижительной подчиненности. И въ образованномъ русскомъ обществѣ съ конца 30-хъ годовъ прошлаго столѣтія все сильнѣе поднимается тревожный вопросъ: съ какой стати терпѣть такое униженіе могущественному русскому народу, съ какой стати ему добровольно отказываться отъ самостоятельной родной культуры, такъ сказать, обезличиваетъ себя, оставаясь вѣчнымъ данникомъ западной цивилизаціи? Исторія не только дала русскому народу очень опредѣленную фізіономію, его національныя черты вдобавокъ отличаются большою рѣзкостью и содержатъ въ себѣ много новаго. И по своему религіозному чувству, и по семейному и общественному складу онъ не только отличается отъ народовъ романо-германскаго Запада, но быть его даже содержитъ задатки будущаго обновленія этого самаго Запада. Задатки эти, правда, сохранили грубый, не законченный видъ, но виною тому насильственный переворотъ, остановившій ростъ родной жизни, чтобы налѣпить на нее снаружи форму жизни Запада, и оторвавшій отъ народной массы ея передовую, наиболѣе развитую часть, оболещенную блескомъ европейской культуры. Вновь образовавшаяся школа поставила себѣ задачею сомкнуть порванную цѣпь русской исторіи и оживить заглухнувшіе ростки національнаго развитія. Становясь, такимъ образомъ, въ оппозицію къ реформѣ Петра, эта школа вовсе не думала возвращаться назадъ и разрывать съ европейскимъ просвѣщеніемъ; она хотѣла только привить это просвѣщеніе къ родному ство-

лу, чтобы оно перестало быть обманчивою вывѣскою и, претворившись въ народныхъ понятіяхъ, создало особый самостоятельный типъ русской культуры. То обстоятельство, что перестали жить по-русски у насъ высшіе классы, придавало даже новому направленію передовой, демократическій характеръ и дѣлало его подозрительнымъ для тогдашнихъ властей. Одѣваясь въ народный костюмъ, строго соблюдая религіозные обряды и очищая свою рѣчь отъ иностранныхъ словъ, вожди народившагося славянофильства по необходимости должны были искать въ простомъ народѣ, въ мужикѣ, чистыя, нетронутыя формы русской жизни. Такимъ образомъ, по странной игрѣ, насмѣшливой судьбы, крестьянскій тулупъ и зипунъ, ношеніе бороды и строгая православная обрядность превратились въ какіе-то прогрессивные, демократическіе символы. Много было, конечно, дѣланности и комизма въ этомъ святочномъ переряживаніи себя въ мужика со стороны такихъ высоко культурныхъ людей, какъ Хомяковъ, Кирѣевскій и Константинъ Аксаковъ, и въ томъ, какъ передѣлывали они московскую старину, находя въ ней черты гуманности и свободы, было много самообольщенія. Во всемъ же этомъ было и нѣчто почтенное и плодотворное—стремленіе изучить и поднять русское простонародье и въ то же время стряхнуть съ себя приниженное искательство передъ Западомъ, то нелѣпое поведеніе культурнаго выскочки, въ которомъ обвиняли не безъ основанія нашихъ подражателей Европы.

У славянофильской программы имѣлась впрочемъ и другая сторона, отъ которой была даже заимствована кличка, приданная цѣлой школѣ. Если русскому народу — думали славянофилы—и удалось создать обширное государство, то прочія отрасли славянской расы не только разрознены, но и находятся сверхъ того подъ чужимъ владычествомъ. Пробудить чувство племенной солидарности между ними, вызвать у каждой изъ нихъ стремленіе сохранить и поддержать родной языкъ и культуру и добиться политической зависимости—вотъ та широкая цѣль, которую они себѣ поставили. Конечно, при этомъ мерещилось, что объединителемъ славянства и старшимъ братомъ въ союзѣ станетъ русскій народъ. Такимъ образомъ, ре-

волюціонная идея объ освобожденіи славянскихъ народностей совпала съ идеей совершенно иного рода—съ объединеніемъ этихъ народностей подъ русской державой. Эта двойственность придаетъ славянофильству много оригинальнаго въ исторіи русской литературы и привело его къ заключенію самыхъ противоположныхъ союзовъ, то съ передовою частью русскаго общества, во имя демократизма, то съ консервативными его отѣнками, во имя старины. Но было у славянофиловъ и другое, еще болѣе коренное внутреннее противорѣчіе. Будучи одновременно сторонниками славянскаго единства и русскаго народнаго склада, они совершенно упустили изъ виду, что исторія внесла въ бытъ западныхъ славянъ много такихъ чертъ, которыя русскому быту совершенно чужды и притомъ не согласны между собою,—какъ сильное развитіе дворянства и католицизма у поляковъ и чеховъ, и полное отсутствіе сословности у болгаръ и сербовъ. Помирить между собою эти разношерстные свойства было задачею едва-ли выполнимою.

И за все время существованія славянофильства замѣтно въ немъ постоянное колебаніе между двумя полюсами его доктрины—между пропагандою славянскаго единства съ одной стороны, и культомъ русской самобытности—съ другой. На противорѣчій этихъ двухъ сторонъ славянофильской программы и основано довольно-таки искусственное дѣленіе цѣлой школы на двѣ группы—на чистыхъ славянофиловъ и, такъ называемыхъ, почвенниковъ. У первыхъ будто бы преобладаетъ стремленіе осуществить особые идеалы славянской расы, на сколько они выразились и въ русскомъ народѣ, вторые удовлетворяются восхваленіемъ русской дѣйствительности, въ томъ числѣ государственнаго строя. Признавая за славянствомъ вообще и за русскимъ народомъ въ особенности право на самостоятельную историческую роль, чистые славянофилы не (дѣлаютъ) строятъ себѣ иллюзій насчетъ слабыхъ сторонъ русскаго національнаго характера и несовершенствъ русскаго общественнаго склада. Ихъ произведенія богаты громкими обличеніями этихъ несовершенствъ. Они поклоняются не реальнымъ формамъ родной жизни, а тѣмъ высокимъ задаткамъ, которые, по ихъ мнѣнію, содержатся въ поня-

тѣхъ и вѣрованіяхъ русскаго народа. У нихъ оказывается, такимъ образомъ, много общаго съ ученіемъ либеральныхъ западниковъ, такъ какъ идеалы у нихъ одинаковы, съ тою лишь разницею, что западники находятъ идеалы эти осуществленными въ европейской культурѣ, а славянофилы отыскиваютъ ихъ въ полубезсознательныхъ стремленіяхъ русскаго народа. Почвенники, наоборотъ, склонны восхвалять современную русскую дѣйствительность, какъ бы неприглядна она не была. Любовь къ родинѣ выражается у нихъ въ самой узкой формѣ, такъ называемаго кваснаго патріотизма, готоваго презирать и давить все чужое, во имя національной гордости и національнаго эгоизма. Это дѣленіе названо было искусственнымъ, потому что у самыхъ первыхъ славянофиловъ, — у Хомякова и Константина Аксакова, — патріотическая струна звучитъ также сильно, какъ у наиболѣе типичнаго изъ, такъ называемыхъ, почвенниковъ, у Данилевскаго, и произведенія ихъ полны самыхъ горячихъ обличеній несостоятельности западной культуры. Въ то же самое время многіе изъ почвенниковъ, какъ Достоевскій, Страховъ, Аполлонъ Григорьевъ, постоянно указываютъ на одну черту русскаго характера — на глубокое смиреніе русскаго человѣка и на способность его увлекаться идеей общечеловѣческаго братства: достаточно указать и сослаться на извѣстную рѣчь Э. М. Достоевскаго, сказанную на Пушкинскомъ торжествѣ. Единственнымъ признакомъ, могущимъ служить для раздѣленія славянофиловъ на двѣ группы, является большая или меньшая степень ихъ увлеченія славянскимъ единствомъ. Но и этотъ фактъ годится развѣ, какъ отличіе позднѣйшихъ славянофиловъ отъ ихъ предшественниковъ: съ теченіемъ времени, въ самомъ дѣлѣ, благодаря разочарованіямъ послѣдней восточной войны, то есть, крымской войны въ 1855—1856 г. общеславянская идея постепенно меркнетъ и славянофильская школа становится все болѣе строго національной, усваивая себѣ принципъ: „Россія—для русскихъ“. Но и въ этомъ отношеніи она лишь слѣдуетъ примѣру цѣлой Европы, гдѣ повсюду за послѣднія 30 лѣтъ XIX вѣка, національный антагонизмъ сталъ проявляться сильнѣе.

Не мѣсто здѣсь изучать славянофильское движеніе въ трехъ главныхъ областяхъ, въ которыхъ оно выразилось замѣтно—философской, религіозной и политической. Поэты и публицисты славянофильства, — Хомяковъ, Тютчевъ, Мей, братья Аксаковы и Кирѣевскій, — при всей своей высокой талантливости стоятъ внѣ рамокъ данной работы. Основная задача и цѣль была прослѣдить лишь развитіе идей, проявившихся въ области романа, и подробно довольно останавливался на славянофильствѣ лишь затѣмъ, чтобы выяснить ту своеобразную точку зрѣнія, на которую стала у насъ цѣлая литературная школа въ совершенномъ противорѣчій съ главнымъ теченіемъ нашей литературы. Известно, теченіе это относилось къ нашей русской дѣйствительности отрицательно и сообразно этому представляло себѣ задачу лучшихъ людей, какъ борьбу либо противъ общественнаго склада, либо противъ дурныхъ сторонъ національнаго характера. Понятно, что славянофилы не могли сдѣлать ни того, ни другого: они уважали общественные порядки, при всѣхъ ихъ несовершенствахъ, какъ продуктъ исторіи, а народный характеръ былъ имъ дорогъ. Недостатки того и другого они приписывали лишь извращенію роднаго склада, и потому задача истинно русскаго человѣка представлялась имъ какъ возвращеніе къ родной почвѣ, какъ строгое соблюденіе національныхъ обычаевъ. А въ болѣе широкомъ смыслѣ, въ смыслѣ требованія общечеловѣческой нравственности, они указывали на одну преобладающую черту въ народномъ характерѣ, на которой, по ихъ мнѣнію, слѣдуетъ основать нравственное усовершенствованіе. Черта эта—смирненное незлобіе русскаго человѣка и его способность къ всепрощенію. Черта эта служитъ главнымъ мотивомъ не только въ творествѣ единственнаго романиста, непосредственно примыкающаго къ славянофильству, Сергѣя Аксакова, но и двухъ писателей, имѣющихъ со славянофильствомъ лишь косвенную связь — Федора Михайловича Достоевскаго и графа Льва Николаевича Толстого.

---

## Связующая черта Сергѣя Аксакова, Достоевскаго и Л. Толстого—поклоненіе почвеннымъ идеаламъ.

Допустимъ, какой-либо иностранный критикъ, незнакомый съ нашей литературой, прочитываетъ впервые главныя произведенія эпохи сороковыхъ годовъ прошлаго столѣтія, ознакамливается съ „Рудинымъ“ Тургенева, „Обыкновенной исторіей“ Гончарова, съ романомъ Герцена „Кто виноватъ?“, затѣмъ онъ бы поочередно взялъ въ руки „Бѣдныхъ людей“ Достоевскаго, „Семейную хронику“ Сергѣя Аксакова, „Севастопольскіе рассказы“ и „Казаковъ“ Л. Толстого, ему, вѣроятно, показалось, что онъ вдругъ, неожиданно перенесся въ совершенно новый, противоположный міръ понятій.

Въ первомъ родѣ произведеній онъ имѣлъ дѣло съ людьми, стремящимися порвать съ установившимся складомъ жизни, съ людьми, чьи взоры обращены къ Западу, откуда они ждуть обновленія. И вотъ, когда онъ переходитъ къ писателямъ второй группы, онъ видитъ, что этотъ самый, яко бы уродливый, быть очерченъ съ любовью, что въ своей исторической мощи онъ сильнѣе и устойчивѣе отдѣльнаго человѣка; что правду можно отыскать, не пытаясь обновить этотъ бытъ, а, наоборотъ, усвоивъ себѣ его родные завѣты, что не гордому самомнѣнію реформатора, а, напротивъ, смиренной покорности и единенію съ родною почвою и роднымъ народомъ достается нравственная побѣда. Нѣтъ уже передъ нами героевъ стоящихъ выше толпы или, по крайней мѣрѣ, выдѣляющихся надъ толпой головой и призванныхъ учить ее; настоящій герой здѣсь—сама толпа съ ея заурядною жизнею къ какой бы средѣ эта толпа не принадлежала, — къ провинціальному дворянству, къ мелкому люду низшаго чиновничества, или къ настоящему, заправскому народу. Жалкое ничтожество отдѣльнаго человѣка передъ толпой, ненужность всякихъ усилій, чтобы выдѣлиться изъ этой толпы, необходимость преклониться передъ той единственной правдой, которая ей доступна, — вотъ главная мысль, проходящая черезъ всѣ созданія этихъ писателей и съ особенной рельефностью выраженная Львомъ Толстымъ.

Вотъ почему соединяются въ одну группу романисты, столь разнохарактерные и по міросозерцанію, и по литературной манерѣ, и даже по взглядамъ какъ Достоевскій, Сергѣй Аксаковъ и Левъ Толстой. Нужды нѣтъ, что по формѣ и языку Аксаковъ очень близко подходитъ къ И. С. Тургеневу, несмотря на всю свою славянофильскую окраску, что Левъ Толстой совершенно чуждъ этой окраски, что, наконецъ, у Достоевскаго нѣтъ и слѣда той объективной реальной образности, которая у Льва Толстого достигаетъ своего полнѣйшаго выраженія,—при всѣхъ этихъ различіяхъ трехъ названныхъ писателей сближаетъ черта одна — *поклоненіе почвеннымъ идеаламъ*. Только идеалы эти у каждаго изъ нихъ выразились своеобразно — въ видѣ прочнаго быта хорошей дворянской семьи у Сергѣя Аксакова, въ видѣ религіозно-нравственнаго мистицизма у Достоевскаго, наконецъ, въ видѣ инстинктивной, безсознательной жизненной правды у Льва Толстого.

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой, хотя не стоялъ и не стоитъ, какъ уже выше замѣтилъ въ прямой и непосредственной связи съ такъ называемымъ славянофильскимъ движеніемъ, однако въ міровоззрѣніи графа съ идеалами славянофильства много общаго.

Попытаемся разобраться въ кажущемся противорѣчii. Отвѣтъ на это даетъ общая характеристика таланта Льва Николаевича и характеристика толстовскихъ типовъ и, наконецъ, отношеніе къ нимъ самого автора.

---

### **Общая характеристика таланта Льва Толстого.**

Мудреное дѣло подыскать другого современнаго писателя, которому было бы посвящено такъ много и столько противорѣчивыхъ отзывовъ, какъ графу Л. Толстому. Произошло это отъ поразительной многосторонности его таланта, многосторонности нисколько, впрочемъ, не мѣшающей единству его творчества.

Люди самыхъ разнообразныхъ партій и воззрѣній находятъ въ немъ сочувственный откликъ на свои идеи и потому естественнымъ образомъ стараются притянуть его къ себѣ. Какъ въ блестящемъ полированномъ многогран-



никъ, всякій, съ какой бы стороны онъ на него не посмотрѣлъ, видитъ въ немъ собственное отраженіе. И всетаки могучая личность Льва Николаевича ускользаетъ отъ всѣхъ попытокъ завербовать ее въ ряды какой-нибудь партіи. Его оригинальное міросозерцаніе, на зло всѣмъ такимъ попыткамъ, въ партійную рамку не укладывается. Сторонникъ чистой эстетики можетъ указать на удивительное безпристрастіе, съ какимъ Толстой рисуетъ свои типы, понимая съ одинаковымъ, немного ироническимъ сочувствіемъ духовный строй каждаго изъ нихъ. Защитникъ тенденціозной литературы въ свою очередь можетъ сослаться на страстную проповѣдь нравственного перерожденія, которой отведено столько мѣста, особенно въ послѣднихъ произведеніяхъ Льва Николаевича. Люди, которымъ дороги воспоминанія старины, привольный складъ жизни родового дворянства, найдутъ у него живое сочувствіе къ этому складу, тѣ же симпатіи которыхъ обращены къ будущему и которыхъ тревожитъ мысль объ имущественномъ неравенствѣ, легко отыщутъ у него страницы, проникнутыя чѣмъ-то очень близкимъ къ социализму. Наклонность Толстого объяснять всѣ поступки людей одними свойствами темперамента, и потому относиться къ нимъ съ полною терпимостью — можно было бы приписать его нравственному индифферентизму и даже привести ее въ связь съ матеріалистическими взглядами, если бы, съ другой стороны, онъ не являлся такъ часто почти аскетомъ, если бы требовательный моралистъ не выступалъ у него съ такой силой изъ-за художника, съ одинаково невозмутимостью воспроизводящаго всѣ явленія жизни. Здѣсь желаніе, несмотря на вѣковую отдаленность, навязывается сопоставить пропаганду Льва Николаевича съ пропагандою св. Франциска Ассизскаго. Біографіи ихъ сходны, да и пропаганда сходна—разумѣется, у Франциска Ассизскаго она не могла отличаться той разносторонностью, многосторонностью и распространенностью, какъ у Льва Николаевича, такъ какъ Францискъ Ассизскій распространялъ свое ученіе изустнымъ путемъ, а графъ печатнымъ. Вотъ здѣсь то и разница, но эта разница опредѣлилась временемъ и индивидуальностью слушателей и исторической особенностью—предпочитать живую рѣчь печатному слову \*).

Разобраться въ противорѣчяхъ таланта было бы еще сравнительно легко, если бы литературную дѣятельность Толстого можно было разсѣчь на періоды, знаменующіе послѣдовательные повороты въ его взглядахъ, и уложить эти періоды въ рамки. Но въ томъ-то и дѣло, что такую операцію надъ его творчествомъ произвести нельзя. Самъ Левъ Николаевичъ, правда, увѣряетъ насъ въ своей „Исповѣди“, что въ немъ [совершился, около половины семидесятихъ годовъ прошлаго столѣтія, крутой переломъ и ходячее мнѣніе публики вполнѣ подтвердило это признаніе. При всемъ томъ художественная личность графа Толстого сохраняетъ внутреннее единство, и въ самыхъ раннихъ его произведеніяхъ не трудно отыскать, какъ бы въ зародышѣ, ученіе, съ которымъ онъ выступилъ въ послѣдствіи. И при всемъ томъ, какъ въ первую эпоху его творчества, такъ и теперь, въ немъ проявляются бокъ о бокъ симпатіи и мысли, принадлежащія совершенно различнымъ умственнымъ сферамъ. У Толстого въ „Дѣтствѣ и отрочествѣ“, „Войнѣ и мирѣ“ и „Аннѣ Карениной“ рядомъ съ природнымъ бариномъ, любящимъ свою усадьбу и проникнутымъ интересами помѣщичьяго класса, слышится исподволь мыслитель, встревоженный идеей соціальной несправедливости, горячій поклонникъ высокой простоты жизни и вѣрованій народа. Тотъ самый художникъ, который въ „Дѣтствѣ и отрочествѣ“, въ „Семейномъ счастьѣ“, на многихъ страницахъ „Войны и мира“ — хотя бы, на примѣръ, въ описаніи святочной поѣздки Ростовыхъ — такъ проникнутъ радостью жизни, такъ полонъ самаго яркого оптимизма, превзошелъ всѣхъ нашихъ писателей въ воспроизведеніи ужаса передъ смертью и въ анализѣ ощущеній умирающаго. На ряду съ жизнерадостными, съ свѣтлыми картинами мы встрѣчаемъ у Толстого отголоски самаго мрачнаго пессимизма, и при томъ не только въ позднѣйшихъ его произведеніяхъ, въ „Смерти Ивана Ильича“, во „Власти тьмы“, въ „Крейцеровой сонатѣ“, но и въ первую эпоху его творчества, когда онъ съ такою отзывчивостью воспроизводилъ радостное ощущеніе молодой разцвѣтающей жизни. Наконецъ, безпощадный сатирикъ, раскрывающій мелочную подкладку самыхъ сильныхъ движеній челоувѣческой души, почти открыто низводящій эти движенія

къ безсознательнымъ физическимъ рефлексамъ, уже чувствуетъ надъ собою вѣяніе идеалистическаго мистицизма, и на одномъ изъ своихъ любимыхъ героевъ, на Пьеръ Безуховъ, показываетъ, какъ можетъ этотъ мистицизмъ преобразить человѣка самаго невѣрующаго.

Существуетъ, такимъ образомъ, не одинъ, даже не два, а какъ бы нѣсколько Толстыхъ, только не смѣнившихъ послѣдовательно другъ друга, какъ обыкновенно думаютъ, а развившихся параллельно. И въ этомъ отношеніи графъ Левъ Николаевичъ — самый полный выразитель русскаго умственнаго склада. Отличительная черта истинно русскихъ людей — неумѣніе подвести себѣ итогъ и ощущать необходимость въ согласованіи отдѣльныхъ своихъ вѣрованій и чувствъ. Вотъ почему русскій умъ, русская культура поражаетъ даже иностранцевъ своею многосторонностью или, вѣрнѣе, своею пестротой. Вотъ откуда берется русское безсиліе и раздвоенность, такъ прекрасно вылившаяся, между прочимъ въ герояхъ Тургенева. Самыхъ лучшихъ изъ насъ въ нравственныхъ понятіяхъ и въ политическихъ убѣжденіяхъ разомъ тянетъ въ противоположныя стороны, и зачастую мы пробуемъ, не удастся-ли намъ невыполнимая задача — одновременно скакать по различнымъ дорогамъ. У Толстого — русскаго *par excellence* — это свойство нашего ума достигло своего апогея. И если при всемъ этомъ онъ сумѣлъ избѣгнуть борьбы съ самимъ собою, если его творческая сила не только не раздробилась на мелочи, но представляетъ собою настоящій колоссъ, поражающій своей оригинальностью, то обязанъ этимъ Толстой своей огромной художественной восприимчивости, слившей воедино различныя теченія его мысли. Если бы ему пришлось стать практическимъ дѣятелемъ, онъ, вѣроятно, разбился бы на осколки. Но какъ художникъ, онъ съ необыкновенною яркостью отзывается на противорѣчивыя впечатлѣнія, и въ немъ, какъ бы волшебномъ фонарѣ, отражаются всѣ проявленія и русской дѣйствительности и русской отвлеченной мысли.

## Характеристика толстовскихъ типовъ и отношеніе къ нимъ самого автора.

Такимъ образомъ, принимаясь комментировать Толстого, надо обращаться съ нимъ крайне осторожно. Чтобы показать это, возьмемъ наудачу нѣсколько примѣровъ. Въ „Утрѣ помѣщика“ молодой князь Нехлюдовъ, собирающийся облагодѣтельствовать своихъ крѣпостныхъ, наталкивается на цѣлый рядъ разочарованій, какъ будто подобранныхъ затѣмъ, чтобы показать въ комичномъ видѣ полную невозможность для богатаго барина не только помочь окружающимъ крестьянамъ, но даже столкнуться съ ними. Въ „Казакахъ“ другой столь же богатый молодой человѣкъ, Оленинъ, при томъ очень похожій на князя Нехлюдова, наскучивъ праздною столичною жизнью, уѣзжаетъ на Кавказъ, чтобы набраться тамъ свѣжихъ впечатлѣній. Онъ попадаетъ въ казачью станицу и восторгается первобытною простотою жизни полудикихъ гребенцевъ. Но попытки его сблизиться съ ними, сдѣлаться такимъ же простымъ и непосредственнымъ, какъ они, тоже оканчиваются жалкою неудачей. Можно бы было подумать, что въ обѣихъ этихъ повѣстяхъ Толстой намѣренно сопоставилъ культурнаго человѣка съ болѣе здоровой народною средой, чтобы наглядно показать ея превосходство надъ искусственной жизнью верхнихъ общественныхъ слоевъ. Не слѣдуетъ, однако, торопиться заключеніемъ и приписывать Толстому чуждую ему демократическую тенденцію. Тотъ же Нехлюдовъ въ цѣломъ рядѣ другихъ рассказовъ, въ „Люцернѣ“ и въ „Запискахъ кавказскаго офицера“, является передъ нами уже созрѣвшимъ вполне, симпатичнымъ героемъ. Константинъ Левинъ въ „Аннѣ Карениной“ — тоже представитель стремленій образованнаго человѣка къ полной, безусловной, жизненной правдѣ. Но Левинъ уже не встрѣчается, какъ молодой Нехлюдовъ, съ упорнымъ недоумѣніемъ со стороны простого народа — онъ отлично уживается съ своими мужиками, не отстаютъ отъ нихъ на работѣ во время сѣнокоса, и ничего смѣшнаго нѣтъ въ его попыткахъ сблизиться съ крестьянами; напротивъ, онъ понимаетъ ихъ какъ нельзя лучше, пользуется ихъ довѣ-

риемъ и въ то же время, не обинуясь, признаетъ за собою истонное право считаться настоящимъ аристократомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, т. е. сохранять полную независимость и передъ народомъ, который онъ любитъ, и передъ высшими сферами, передъ которыми онъ не работаетъ.

Но этимъ не ограничивается своеобразная сложность отношеній Толстого къ своимъ героямъ. Особенность его манеры заключается въ томъ, что онъ никогда не скрадываетъ ихъ слабости передъ читателемъ—что лицо, вполне обладающее его симпатіей, онъ тѣмъ не менѣ ставитъ сплошь и рядомъ въ комичное положеніе. Толстой любитъ изобличать тѣ мелкія, даже пошлыя чувства, которыя таятся въ глубинѣ человѣческой души даже у самыхъ лучшихъ, у самыхъ честныхъ людей. Ухватившись за эти смѣшныя черты характера толстовскихъ героевъ, легко было бы приписать ему намѣреніе отнестись къ нимъ отрицательно, „развѣнчать“ ихъ, какъ принято выражаться. Николенька Иртеневъ, герой „Дѣтства, отрочества и юности“ съ полною откровенностью признается иной разъ въ самыхъ дрянныхъ, некрасивыхъ побужденіяхъ: онъ чванится передъ бѣднымъ товарищемъ, старается подражать, и при томъ неудачно, приемамъ блестящей золотой молодежи, хвастается знатной родней и т. д. И тѣмъ не менѣ онъ ни на одну минуту не перестаетъ быть симпатичнымъ и пряמודушная честность его натуры особенно ярко отѣняется при сравненіи его съ братомъ, изящнымъ и ловкимъ, но совершенно пустымъ Володей. Въ описаніи Пьера Безухова и даже любимаго своего героя, Константина Левина, Толстой не поспешилъ на комическія черты. Пьеръ неуклюжъ, не умѣетъ распоряжаться огромнымъ состояніемъ, даетъ себя окрутить Курагинымъ, которые женятъ его на своей дочери Эленъ почти насильно; онъ обманутъ женой самымъ наглымъ образомъ и не умѣетъ даже съ достоинствомъ войти въ свою роль одураченнаго мужа; онъ въ одинаковой степени не знаетъ, что сдѣлать съ собою и въ гостинной, и на полѣ сраженія. Нѣсколько менѣ ярки смѣшныя стороны характера Левина, но ихъ всетаки достаточно, чтобы представить его въ самомъ жалкомъ видѣ. Онъ нелѣпо ревнивъ, обидчивъ и въ то

же время неумѣстно-откровененъ; онъ разсѣянъ до того, что на цѣлый часъ опаздываетъ въ церковь, гдѣ ждетъ его не вѣста и все московское общество. У него нѣтъ самаго обыденнаго умѣнья обходиться съ людьми. И все-таки и Пьеръ, и Левинъ не только вызываютъ сочувствіе—они въ глазахъ Толстого представители той настоящей жизненной правды, которой онъ старался неизмѣнно служить во всѣхъ своихъ литературныхъ произведеніяхъ. Такимъ образомъ, одно и то же лицо становится попеременно у Толстого предметомъ сатиры и носителемъ его нравственной идеи. И сама эта сатира вовсе не похожа на тѣ приемы, которыми другіе писатели, какъ Тургеневъ и Гончаровъ, очерчиваютъ въ характерахъ своихъ героев отрицательныя стороны. Толстой, изобличая слабыя, комическія черты созданныхъ имъ типовъ, изъ-за этого не перестаетъ ихъ любить, и въ ироніи его слышится всегда снисходительное добродушіе отца по отношенію къ дѣтямъ. Вотъ почему такъ легко для критика ошибиться на счетъ истиннаго замысла Толстого, изуродовать его идею, стараясь вогнать ее въ шаблонныя рамки ходячихъ воззрѣній.

Какова же объединяющая черта, проходящая чрезъ все творчество Толстого и придающая этому творчеству его оригинальный характеръ? Едва-ли будетъ ошибка сказать, что черта эта заключается въ недовѣрїи къ человѣческой личности, въ отрицанїи за человѣкомъ способности достигнуть чего-либо крупнаго собственными силами. Толстой сказалъ разъ, въ концѣ „Севастопольскихъ очерковъ“, что настоящій герой его—правда, что ей, и только одной, онъ хочетъ служить. Позволю себѣ къ его словамъ сдѣлать не большое дополненіе. Толстому слѣдовало бы упомянуть еще объ одномъ героѣ, которому онъ оставался столь же вѣренъ, какъ и самой правдѣ. Герой этотъ толпа. Въ ней одной, въ ея вѣрованїяхъ, вкусахъ, понятїяхъ онъ видитъ олицетвореніе той правды, которой служить. Жить хорошо, по его мнѣнію, значитъ жить общею жизнью народа, учиться у него мудрости, потому что мудрость заключается не въ гордой наукѣ, а въ безсознательномъ чувствѣ народныхъ массъ, итти съ ними заодно, не пытаясь руководить ими, потому что человѣкъ тогда

только силенъ, когда его несетъ съ собою могучая историческая, народная волна. И вотъ почему всѣ фигуры въ толстовскихъ романахъ, которыя поднимаются надъ уровнемъ толпы, все-равно, историческія-ли это фигуры, или вымышленныя, тогда только обладаютъ полной его симпатіей, когда онѣ являются носительницами массовой народной идеи, а не пытаются навязывать другимъ свои единичныя умствованія. Вотъ почему въ „Войнѣ и мирѣ“ старикъ Кутузовъ, недовѣрчивый къ себѣ и къ своимъ помощникамъ, но глубоко вѣрящій въ разумъ своего народа выше и лучше Наполеона, пятнадцать лѣтъ воображавшаго, что онъ ведетъ за собою Европу, между тѣмъ какъ онъ былъ только игрушкою могущественнаго историческаго теченія. И весь смыслъ побѣды Россіи въ 12-мъ году въ томъ, что русскій народъ шелъ на войну безотвѣтно, смиренно, подчиняясь высшему руководству, между тѣмъ какъ его грозный противникъ, нагрянувшій на него съ полумилліоннымъ войскомъ, жалко разбился объ его смиренную стойкость. Точно такъ-же, какъ могущество Наполеона сокрушается пассивнымъ сопротивленіемъ Кутузова, и въ другихъ, болѣе скромныхъ рамкахъ, нравственная побѣда всегда остается у Толстого за непритязательною кротостью, за нищими духомъ. Такъ, Платонъ Каратаевъ поучаетъ своимъ примѣромъ высокообразованнаго Пьера Безухова, а Безуховъ, въ свою очередь, съ тѣхъ поръ какъ научился смиряться передъ жизнью, находитъ счастье, которое упорно не дается его блестящему товарищу, князю Андрею. Такъ въ „Аннѣ Карениной“ Левинъ находитъ правду, т. е. разрѣшеніе жизненной задачи, въ семьѣ, между тѣмъ какъ умный и ловкій Вронскій только себѣ и другимъ приносить горе и за разладъ, внесенный въ чужую семью, расплачивается такимъ же разладомъ съ любимой женщиной и сознаниемъ нравственной отвѣтственности за ея самоубійство. Да и Левинъ въ свою очередь, — Левинъ, желающій искренно сблизиться съ народомъ, вѣчно ищущій правды, въ концѣ концовъ находитъ самое полное ея выраженіе въ простомъ мужикѣ, въ его безхитростномъ упованіи на Бога. А всѣ тѣ, съ кого не довольно этого негромкаго идеала, которые ищутъ собственныхъ путей и вѣрятъ въ собственныя силы, либо очерчены Толстымъ въ

нѣсколько комичномъ свѣтѣ, либо должны платиться за свои притязанія и обречены на грустный конецъ и на сознание роковой неудачи.

Другими словами, герои Толстого выражаютъ собою отрицаніе самаго геройства, т. е. безсиліе человѣка въ борьбѣ съ жизнью и ненужность, даже нелѣпость, этой борьбы. Такимъ образомъ, идеалы Толстого въ прямомъ противорѣчій съ идеалами романтизма. Гораздо болѣе всѣхъ прочихъ реалистовъ, гораздо болѣе Гоголя во всякомъ случаѣ, Толстой осмѣиваетъ романтическую погоню за сильною и крупною личностью, и его ироніи нѣтъ ярче, что онъ вовсе не выводитъ передъ нами, подобно Гоголю, карикатурныхъ типовъ. Не картину людской пошлости онъ противопоставляетъ титаническимъ натурамъ романтизма,—онъ ограничивается тѣмъ, что показываетъ наглядно, какъ безсильны эти мнимые титаны и какъ смѣшны ихъ попытки бороться съ дѣйствительностью. Идеалъ Толстого, какъ видно, близко подходитъ къ идеалу Достоевскаго. Но и съ Достоевскимъ у него есть одно существенное отличіе: своихъ смиренныхъ героевъ Достоевскій подвергаетъ насмѣшкамъ, даже истязаніямъ: они духомъ высоки, но въ жизни они угнетенные. У Толстого, напротивъ, сознаніе своего ничтожества передъ обществомъ, передъ природою, передъ Богомъ — не только высшая мудрость, но и дорога къ счастью, и тотъ лишь находитъ эту дорогу, кто соглашается признать себя зяуряднымъ человѣкомъ, забывъ о гордынѣ.

Есть въ творествѣ гр. Толстого и другая объединяющая черта — это поразительное сходство главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ его произведеніяхъ. Такое сходство встрѣчается, конечно, не у одного Толстого; оно болѣе или менѣе свойственно всѣмъ писателямъ, создававшимъ живые типы, а не однѣ только безличныя фигуры. Сходство это ничто иное, какъ отраженіе личности писателя на его герояхъ. Въ самомъ дѣлѣ, главный источникъ психологическаго анализа по необходимости заключается въ наблюденіи человѣка надъ собою; изъ самого себя онъ черпаетъ большую часть того матеріала, на основаніи котораго строить выводы объ явленіяхъ психической жизни. Художникъ не уходитъ отъ этого общаго закона, онъ



только глубже и ярче сознаетъ происходящее въ немъ самомъ и, съ помощью дарованнаго ему чутья, тоньше другихъ проникаетъ и въ чужія души. Вотъ почему объективность художника—понятіе всегда очень относительное. Въ главныхъ, центральныхъ его фигурахъ онъ болѣе или менѣе воспроизводитъ свою нравственную личность и рисуетъ ее либо въ томъ видѣ, въ какомъ она представляется ему на самомъ дѣлѣ, либо въ томъ, въ какомъ онъ желалъ бы ее видѣть. Другими словами, онъ воспроизводитъ себя либо въ простомъ, не разукрашенномъ, либо въ идеализированномъ обликѣ. Смотря по тому, которая изъ этихъ двухъ склонностей преобладаетъ, онъ создаетъ отрицательные или положительные типы. Наши великіе писатели, начиная съ самого Пушкина, постоянно склонялись въ пользу перваго изъ этихъ пріемовъ. Вотъ почему наша литература даже въ эпоху господства романтизма, въ противоположность литературамъ Запада, всегда носила отрицательный характеръ. Та сравнительная трезвость съ которой и Пушкинъ, и Грибоѣдовъ, и Лермонтовъ, и Тургеневъ, не говоря уже о Гоголѣ, отдавали себѣ отчетъ въ недостаткахъ своихъ героевъ, не позволяла имъ, подобно романтикамъ Запада, преклоняться передъ созданными ими даже идеальными фигурами: за то они слишкомъ ясно видѣли Ахиллесову пяту своихъ героевъ. Пушкинъ былъ несомнѣнно подъ обаяніемъ Онѣгина, Лермонтовъ — подъ обаяніемъ Печорина. Внѣшній же блескъ этихъ фигуръ, создававшей имъ цѣлую толпу подражателей среди общества, не могъ ослѣплять ихъ творцовъ на счетъ ихъ затаенныхъ слабостей. У Тургенева эта черта проявляется еще сильнѣе, и отсутствіе энергіи, парализующее его главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ рѣшительную минуту жизни — ничто иное, какъ результатъ скорбнаго сознанія, что въ немъ самомъ этой энергіи не доставало.

Но ни въ одномъ изъ нашихъ крупныхъ писателей это отличительное свойство русскаго творчества не сказалося съ такою силою, какъ у Толстого. Не смотря на всю свою объективность, Толстой полнѣе всѣхъ нашихъ художниковъ воспроизводилъ въ своихъ герояхъ самого себя, раскрывалъ передъ читателемъ затаенныя движенія своей души. Поступая такъ, онъ не ограничивался вос-

произведеніемъ одного только руководящаго типа, но какъ бы разлагалъ свой внутренній міръ на составныя части и свои противорѣчивыя стремленія воплощалъ въ фигурахъ не только разнообразныхъ, но даже противоположныхъ. Какъ въ библейскомъ сказаніи Творецъ создалъ жену Адама изъ его ребра, Толстой возводилъ отдѣльныя свойства своей природы на степень цѣльныхъ, самостоятельныхъ характеровъ. Такую поляризацию творчества мы видимъ впрочемъ не у одного Толстого. Воплощать въ противоположныхъ типахъ внутреннюю раздвоенность человѣческаго духа—любимый пріемъ многихъ изъ крупныхъ художниковъ. Какъ на самый яркій примѣръ, можно указать на Гете, который въ Фаустѣ и Мефистофелѣ воспроизвелъ какъ бы двѣ стороны, два борющихся элемента одной и той же природы.

Всѣ толстовскіе типы могутъ быть сведены къ четыремъ главнымъ: одинъ изъ нихъ, центральный и повторяющійся наиболѣе часто, всего полнѣе выражаетъ собою личность самого художника, стало быть, всего болѣе субъективенъ. Этотъ типъ, остающійся вѣрнымъ себѣ при всѣхъ послѣдовательныхъ измѣненіяхъ, проходитъ чрезъ все творчество Толстого, отъ героя „Дѣтства“ Николеньки Иртышева до самого Позднышева. И нельзя не признать, что, влагая самого себя въ этого центрального героя, поручая ему быть носителемъ главнаго теченія своей мысли, Толстой обнаружилъ поразительную неприязнительность и смиреніе необыкновенное. Никакихъ особенно выдающихся свойствъ онъ своему герою не придалъ; не только онъ не одарилъ его блестящими качествами, не заставилъ его одерживать побѣды, не прибѣгнулъ, такимъ образомъ, къ удобному способу самовосхваленія, котораго такъ часто придерживался Байронъ, — Толстой, напротивъ, всегда представляетъ своего героя человекомъ зауряднымъ, который въ жизни зачастую встрѣчается съ неудачей и попадаетъ въ комическія положенія, которому не остается даже болѣзненнаго утѣшенія красиво иронизировать надъ собой и любоваться своими недочетами, какъ дѣлаютъ это постоянно герои Тургенева. Толстовскіе герои, напротивъ, обличаютъ самихъ себя гораздо раньше, чѣмъ дѣлаютъ это съ ними безпощадные уроки жизни; и при этомъ

они вовсе не рисуются этимъ самообличеніемъ — они преслѣдуютъ въ самыхъ тайникахъ своей души, какъ сорныя растенія, самыя неуловимыя попытки угодить тщеславію и побаловать дурныя инстинкты. Главная, руководящая черта ихъ характера — глубокая, неподкупная правдивость. И благодаря этому свойству имъ прощаются всѣ недостатки, прощаются не только читателемъ, но и самимъ авторомъ. Въ самомъ дѣлѣ, при всей безпощадности своего анализа гр. Толстой никогда не развѣнчиваетъ своихъ героевъ — потому, быть можетъ, что онъ ихъ не вѣнчаетъ вовсе. Нѣтъ у него и слѣда той дѣйствительности по отношенію къ нимъ, которую обнаружили Пушкинъ въ Онѣгинѣ и Тургеневъ въ Рудинѣ. Они могутъ быть неловкими, смѣшными, даже неуклюжими, какъ Пьеръ, даже преступными, какъ Позднышевъ, но своихъ правъ на симпатію нашу они не утрачиваютъ. Особенность манеры Толстого состоитъ въ умѣннн пользоваться комизмомъ безъ злобы, быть снисходительно гуманнымъ, даже при самой безпощадной ироніи. Онъ изобличаетъ малѣйшую склонность дѣйствующихъ лицъ къ самовозвеличенію, къ рисовкѣ; онъ показываетъ всю неприглядную и мелочную подкладку яко бы возвышенныхъ чувствъ, но при всемъ томъ не перестаетъ любить своихъ героевъ, несмотря на всѣ ихъ недостатки. Вотъ почему только поразительной близорукостью можно объяснить попытки нѣкоторыхъ нашихъ критиковъ приписать Толстому тенденціозное намѣреніе заклеить нравственную несостоятельность высшихъ слоевъ русскаго общества. Такая попытка свидѣтельствуетъ лишь о неумѣннн понять истинный смыслъ толстовской сатиры. Толстой потому обличаетъ слабости людей, что вообще мало вѣритъ въ силу человѣческаго духа и въ его стремленіи показать себя великимъ подозреваетъ одну ходульность. Что это обличеніе не имѣетъ тенденціознаго характера, что оно не вызвано желаніемъ бичевать, а, напротивъ — гуманнымъ сочувствіемъ къ человѣческимъ слабостямъ, видно изъ того уже, что своимъ зауряднымъ героямъ Толстой не противопоставилъ положительнаго типа. Напротивъ, тѣ изъ его характеровъ, которые одарены внѣшнимъ блескомъ, силою воли и высокимъ полетомъ мысли, всѣ до единаго являются настоящими отрицательными фи-

гурами. Въ самомъ дѣлѣ, если сопоставить этихъ сильныхъ, счастливыхъ людей съ его неудачниками, не трудно будетъ убѣдиться, на чьей сторонѣ симпатіи автора. Сравненіе это не всегда возможно, потому что этотъ второй, блестящій типъ не во всѣхъ произведеніяхъ Толстого выведенъ на ряду съ первымъ. Но тамъ, гдѣ онъ имѣется на лицо, выводъ этотъ сдѣлать не трудно. Поставьте, въ самомъ дѣлѣ, рядомъ съ Николенькой Иртеневымъ его старшаго брата Володю, князя Андрея Болконскаго рядомъ съ Пьеромъ Безухимъ, Вронскаго съ Левинымъ — и всякія сомнѣнія исчезнутъ.

Насколько Толстой главныхъ своихъ героевъ, начиная съ десятилѣтняго Николеньки въ „Дѣтствѣ“, лишилъ всякаго внѣшняго обаянія, представилъ неловкими и зачастую смѣшными, настолько онъ щедро одарилъ ихъ соперниковъ, одарилъ и блескомъ ума, и физической красотой, и жизненнымъ успѣхомъ. И тѣмъ не менѣе отъ этихъ баловней судьбы, не только вѣетъ на читателя холодомъ, но внѣшнія условія счастья, которыми они обставлены, въ концѣ концовъ имъ все-таки этого счастья не даютъ. Ту же иронию, съ которой Толстой относится къ героямъ первой категоріи, дѣлая ихъ смѣшными, онъ примѣняетъ и къ этимъ уже вовсе не смѣшнымъ фигурамъ. Только иронія здѣсь проникаетъ глубже и добродушіе смѣняется горечью; ее вызываетъ уже не комизмъ положенія, а, напротивъ, трагическій контрастъ между богатыми дарами счастья и внутреннею невозможностью ими воспользоваться. Типы этого рода до нѣкоторой степени похожи на тургеневскихъ „лишнихъ“ людей. Но и здѣсь Толстой проникъ дальше своего великаго собрата въ тайны чело-вѣческаго сердца. Не слабость воли, не отсутствіе рѣшимости виною тому, что князь Андрей и Вронскій, которыхъ съ дѣтства окружаетъ успѣхъ и которые вступаютъ въ жизнь съ гордымъ сознаниемъ превосходства надъ другими, все-таки не находятъ настоящаго счастья. Причина здѣсь иная — она лежитъ въ роковой несостоятельности личныхъ стремленій чело-вѣка, въ полной его неспособности удовлетвориться тѣмъ внѣшнимъ блескомъ, который даютъ успѣхъ и богатство. Князь Андрей и Вронскій несчастливы потому, что, подобно евангельской Марѣ, они

избрали себѣ не благую часть. И въ этомъ обличеніи сильныхъ натуръ Толстой опять-таки возвелъ на степень художественнаго типа одну изъ сторонъ своего собственнаго „я“—неудовлетворенность жизнью, которая неизбежно сказывается у наиболѣе одаренныхъ людей, и которую онъ втайнѣ чувствовалъ даже въ тѣ годы, когда вполнѣ отдавался жизнерадостнымъ ощущеніямъ.

Есть, однако — и Толстой это сознаетъ прекрасно — особый сортъ людей, которымъ счастье дается вполнѣ, какъ разъ потому, что они не предъявляютъ къ жизни требованій особенно высокиихъ. Эти люди, стоящіе какъ бы на перепутьѣ между двумя типами, о которыхъ я только что говорилъ, люди, не гоняющіеся за высокими задачами, но обладающіе достаточнымъ запасомъ заурядной житейской мудрости, тоже имѣютъ двухъ видныхъ представителей въ романахъ графа Толстого—Николая Ростова въ „Войнѣ и мирѣ“ и Стиву Облонскаго въ „Аннѣ Карениной“. Это вполнѣ здоровыя, уравновѣшенныя, добродушно-эгоистическія натуры, которыхъ не тревожитъ мучительный анализъ надъ собой, а еще менѣе, конечно, страданіе о чужомъ горѣ. Умѣнье ладить съ людьми и обстоятельствами даетъ имъ успѣхъ, а непритязательность къ жизни позволяетъ довольствоваться счастьемъ не высокаго полета. Эти люди, являющіеся какъ бы продуктомъ скрещенія первыхъ двухъ типовъ, могли бы считаться настоящими положительными героями, если бы и по отношенію къ нимъ не слышалось у ихъ творца затаенной насмѣшки, вызванной какъ разъ невзыскательностью ихъ нравственныхъ требованій. „Полное счастье возможно“, — какъ будто говоритъ Толстой, — „но дается оно тѣмъ только, кто довольствуется низкопробными радостями“.

Есть, наконецъ, у Толстого еще одинъ основной типъ, составляющій прямую противоположность гордымъ, блестящимъ героямъ, вродѣ князя Андрея и Вронскаго — это люди настоящей внутренней правды, достигшіе того идеала, который только мерещится самымъ излюбленнымъ изъ толстовскихъ героевъ. Они не только аскеты, но почти юродивые. Къ жизни они не предъявляютъ требованій не потому, что ихъ удовлетворяютъ грубыя наслажденія, а потому, что имъ ровно никакихъ наслажденій не нужно,

что они живутъ одной душой, простой, незатѣйливой, смиренной. Сюда относятся: юродивый въ „Дѣтствѣ“, бѣдный музыкантъ въ „Люцернѣ“, Платонъ Каратаевъ въ „Войнѣ и мирѣ“, старикъ Акимъ во „Власти тьмы“. Люди эти въ свою очередь тоже олицетвореніе одной изъ нравственныхъ сторонъ самого Толстого, — стремленія къ аскетизму, которое рано вступило у него въ борьбу съ эпикурейскими наклонностями его природы.

---

„Дѣтство, отрочество и юность“ гр. Толстого. — „Утро помѣщика“. — „Встрѣча“. — „Въ Люцернѣ“. — „Записки маркера“. — „Два гусара“. — „Семейное счастье“. — „Набѣгъ“. — „Севастопольскіе рассказы“. — „Три смерти“. — „Казакъ“.

Посмотримъ теперь, какъ основная тема творчества Толстого послѣдовательно выразилась въ его произведенияхъ.

Во всѣхъ европейскихъ литературахъ психологіи дѣтства посвящено много блестящихъ и прочувствованныхъ страницъ. Прослѣдить въ зародышѣ будущее развитіе характера — это задача, прельстившая большинство крупныхъ романистовъ. Жоржъ Зандъ и Диккенсъ возвращались къ этой темѣ особенно часто. У насъ Тургеневъ въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ посвятилъ нѣсколько мастерскихъ главъ молодымъ годамъ своего Лаврецкаго; Гончаровъ подробно прослѣдилъ вліяніе среды воспитанія на двухъ своихъ герояхъ, Обломовъ и Райскомъ; Достоевскій въ своихъ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ обрисовалъ цѣлую группу дѣтей, съ поразительную чуткостью воспроизводя ихъ душевный міръ. Но всѣ эти картины дѣтства все-таки представляютъ его лишь въ отрывочномъ видѣ, либо какъ подготовленіе къ послѣдующему развитію, либо какъ результатъ вліянія старшихъ на подрастающее поколѣніе. У одного Толстого въ его „Дѣтствѣ, отрочествѣ и юности“ мы находимъ полное и самостоятельное изображеніе дѣтскихъ годовъ, съ самаго момента, когда зарождается сознаніе, до наступленія совершеннолѣтія. На своемъ Николенькѣ онъ прослѣдилъ ростъ молодой жизни самой по себѣ, не толь-

ко въ видѣ отраженія постороннихъ воздѣйствій, но во всей цѣлости внутренняго дѣтскаго міра, со всѣми его помыслами, ощущеніями и тревогами. Толстой не смотритъ на своего героя только со стороны, какъ дѣлаютъ это другіе писатели,—онъ становится на его мѣсто и говоритъ прямо отъ его имени. Въ „Дѣтствѣ“ несомнѣнно заключается автобіографическій матеріалъ, если не въ самой фабулѣ, то въ картинѣ внутренняго психологическаго развитія героя. Тонкій анализъ движеній его души Толстой могъ почерпнуть только изъ самого себя, хотя бы онъ и придумалъ весь внѣшній ходъ разсказа и являющихся въ немъ прочихъ лицъ. Первое его произведеніе было въ то же время и первымъ художественнымъ изображеніемъ дѣтства. Неудивительно, что оно дало ему сразу громкую извѣстность.

Одинъ изъ нашихъ критиковъ, г. Скабичевскій, попытался Николеньку Иртенева представить какъ типъ юноши изъ дворянской среды, и весь его характеръ истолковать специально дворянскимъ воспитаніемъ. Такое объясненіе нельзя не признать въ высшей степени узкимъ и произвольнымъ. Конечно, на молодомъ толстовскомъ героѣ обстановка до извѣстной степени отражается, какъ то бываетъ съ любымъ ребенкомъ; внѣ опредѣленныхъ жизненныхъ рамокъ никакого человѣка представить себѣ вообще нельзя. Но что въ своемъ Николенькѣ Толстой вовсе не хотѣлъ изобразить типъ молодого барича, что типичность его не сословная, а вполне индивидуальная, это ясно уже изъ того, что рядомъ съ Николенькой въ той же средѣ растеть его старшій братъ Володя, на него совсѣмъ не похожій. Особенности характера Николеньки, притомъ вовсе не таковы, что бы онѣ могли исключительно обусловливаться воспитаніемъ, какъ было оно, на примѣръ, съ Обломовымъ или Райскимъ. Въ томъ-то и заключается коренное отличіе Толстого отъ другихъ изобразителей дѣтства, что своего Николеньку онъ понялъ и нарисовалъ вполне индивидуально и знакомитъ насъ съ малѣйшими подробностями его внутренняго міра, въ которомъ очень много чертъ совсѣмъ независящихъ отъ какой бы то ни было среды. Двѣ главныя основы его характера — совершенная правдивость передъ собой, правдивость щепетиль-

но доискивающаяся самых затаенных и притомъ часто некрасивыхъ внутреннихъ побуждений, болѣзненно-робкое самолюбіе, иной разъ заставляющее его осилить себя и, очертя голову, выказать напускную смѣлость. Николенька иногда лжетъ передъ другими, но передъ собой онъ безусловно правдивъ и ловить себя не только на сомнительномъ поступкѣ, но даже на каждой нехорошей мысли. Робѣетъ онъ постоянно, но причиной тому не отсутствіе мужества, а недовѣріе къ себѣ. Недовольство собой,—реакція противъ страданій самолюбія,—и вызываетъ у него порывы отваги не по разуму и благодаря ей онъ нарушаетъ какъ разъ тѣ самыя приличія, о соблюденіи которыхъ такъ болѣзненно старается. Какъ видно, Николенька совершенная противоположность заправскому герою; ему не достаетъ какъ разъ того свойства, которое скрадываетъ недостатки и представляетъ въ самомъ выгодномъ свѣтѣ блестящія качества, не достаетъ той ловкой самоувѣренности, которая всего лучше обезпечиваетъ успѣхъ. Но какъ разъ благодаря этому онъ и симпатиченъ. Его старшій братъ, ловкій и благовоспитанный Володя—одинъ изъ тѣхъ юношей, которыми обыкновенно гордятся родители, потому что они вездѣ успѣваютъ, и въ обществѣ, и на экзаменахъ, и, позднѣе на службѣ, а между тѣмъ, хотя Толстой нигдѣ не подчеркиваетъ своей антипатіи къ нему, отъ Володи такъ и вѣетъ пустотой и безсердечіемъ. На этихъ двухъ типахъ впервые сказался тотъ особый пріемъ Толстого, которому онъ оставался вѣренъ во всѣхъ своихъ дальнѣйшихъ произведеніяхъ,—его умѣніе вызывать сочувствіе къ своимъ героямъ совершенно независимо отъ ихъ внѣшняго блеска и отъ степени ихъ удачи. Иронія Толстого какъ будто двоятся. Она не щадитъ его любимыхъ созданій, безжалостно раскрывая ихъ промахи; но рядомъ съ нею чувствуется другая, болѣе скрытая и глубокая иронія, обличающая всю мишурность наружнаго блеска. Есть и другой любимый толстовскій пріемъ, отличающій его среди всѣхъ прочихъ нашихъ художниковъ и тоже впервые имъ употребленный въ повѣсти „Дѣтство“. Пріемъ этотъ заключается въ такомъ анализѣ внѣшнихъ проявленій каждаго психическаго движенія, который разлагаетъ эти проявленія на мельчайшія составныя части, какъ бы



подвергая ихъ дѣйствию химическаго реактива. Другіе художники, описывая какой-нибудь душевный аффектъ, стараются изобразить внутреннія ощущенія своихъ дѣйствующихъ лицъ, лишь нзрѣдка дополняя ихъ какимъ-либо наружнымъ, большею частью условнымъ, какъ бы символическимъ жестомъ.

Раскаяніе, горе, злоба, любовь, энтузіазмъ — все это представляется ими, какъ нѣчто цѣльное, и самыя яркія краски пускаются въ ходъ, дабы усилить впечатлѣніе. При этомъ каждое такое чувство овладѣваетъ даннымъ лицомъ непремѣнно сполна, по крайней мѣрѣ, съ той минуты, какъ оно восторжествовало надъ противоположными стремленіями души. Если, на примѣръ, сердцемъ героя овладѣла ревность и онъ собирается мстить, то весь онъ дышетъ злобою, не зная уже никакого иного чувства; если герой идетъ на мужественное самопожертвованіе, онъ тоже весь охваченъ пламенною готовностью встрѣтить опасность. Толстой слѣдуетъ діаметрально противоположному методу: онъ какъ будто не довѣряетъ сильнымъ движеніямъ души, какъ не довѣряетъ великимъ характерамъ. Толстой слишкомъ хорошо помнитъ, какъ много таится мелкаго, даже тривіально подъ самыми могучими и благородными аффектами, какъ всеневная жизнь съ ея матеріальными, иногда пошлыми требованіями сохраняетъ власть надъ человекомъ даже въ самыя бурныя минуты; точно сквозь увеличительное стекло, онъ показываетъ всю эту подкладку сильныхъ психическихъ движеній. Въ этомъ тоже отражается его своеобразная иронія, всегда незлобивая, но какъ разъ потому, быть можетъ, неотразимо дѣйствующая на читателя.

Содержаніе „Дѣтства, отрочества и юности“ вращается почти исключительно среди самыхъ обыденныхъ и мелочныхъ событій. Игры, а потомъ и кутежи съ товарищами, заучиванье уроковъ, визиты къ знакомымъ, поверхностная влюбленность — вотъ къ чему сводится это содержаніе. Но и здѣсь, на этихъ мелочахъ жизни, представленъ поразительный контрастъ, между официальными чувствами, если можно такъ выразиться, какія долженъ испытывать при всемъ этомъ юноша, и дѣйствительнымъ его душевнымъ состояніемъ. Возьмемъ для примѣра хотя

бы мастерское по своему комизму описание перваго ку-тежа студентовъ-первокурсниковъ, устроеннаго въ домѣ одного изъ нихъ, съ благословенія родныхъ подъ отече-скимъ руководствомъ бывшаго губернатора Неггъа Фроста. Комизмъ этой сцены заключается въ общемъ стараніи всѣхъ присутствующихъ увѣрить себя, что имъ чрезвы-чайно весело, между тѣмъ какъ, на самомъ дѣлѣ, имъ не-обыкновенно скучно. И всѣ они, въ томъ числѣ и Неггъ Фростъ, самымъ добросовѣстнымъ образомъ, точно по ко-мандѣ, напиваются до-пьяна. Въ одномъ только случаѣ разсказъ возвышается до трагической ноты — въ минуту неожиданной для героя кончины его матери, оставшейся въ деревнѣ, когда мужъ и дѣти переселились въ Москву. Но и здѣсь Толстой не приминулъ показать, какъ при всей искренности горя Николеньки, когда онъ стоялъ предъ гробомъ матери, въ его дѣтской головѣ роились самыя разнообразныя мысли, ничего общаго съ этимъ горемъ не имѣвшія. Такой приѣмъ въ описаніи и придалъ творчеству графа Толстого сильную реалистическую окраску. Приѣмъ этотъ вызывалъ самыя восторженныя похвалы необыкно-венному ясновидѣнію Толстого и его безпощадной прав-дивости. Но имѣетъ онъ и свою оборотную сторону: анали-зомъ можно злоупотреблять, какъ и всѣмъ на свѣтѣ. Микроскопъ открываетъ въ каплѣ воды цѣлый невѣдомый міръ разнообразныхъ, большею частью уродливыхъ су-ществъ, но съ помощью микроскопа нельзя увидѣть пре-лестъ какого нибудь ландшафта, либо красоты человѣче-скаго лица. И въ концѣ концовъ, совершенно такъ же, какъ армія есть нѣчто больше, чѣмъ совокупность нѣ-сколькихъ десятковъ тысячъ солдатъ, а человѣческій орга-низмъ — чѣмъ совокупность нѣсколькихъ милліоновъ клѣ-точекъ, такъ психическое настроеніе не есть только сум-ма безразличныхъ жестовъ и полу-безсознательныхъ обрыв-ковъ мыслей. И отдаваясь ѣдкому удовольствію разлагать на мелочи сильное чувство, мы рискуемъ зачастую поза-быть о цѣломъ изъ-за ничтожныхъ подробностей.

Герой „Утра помѣщика“ и затѣмъ двухъ другихъ по-вѣстей, князь Нехлюдовъ, — второй, по очереди, представи-тель центрального толстовскаго типа. Одинъ изъ нашихъ критиковъ, г. Скабическій, въ статьѣ „Графъ Толстой,

какъ художникъ и мыслитель“, пытается даже изобразить Нехлюдова, какъ простаго подражателя Николенки Иртелева, какъ послѣдовательную ступень въ развитіи его характера. Съ этимъ взглядомъ нельзя, однако, согласиться. Николенка и князь Нехлюдовъ, правда, разновидности одного и того же типа, но разновидности съ очень характерными отличіями. Не говоря уже о томъ, что оба, въ качествѣ близкихъ товарищей, временно появляются въ романѣ „Юность“—одно обстоятельство не допускаетъ ихъ полнаго тождества: въ характерѣ Нехлюдова есть элементъ серьезной вдумчивости, притомъ съ оттѣнкомъ меланхолической сентиментальности, элементъ совершенно отсутствующій въ менѣ глубокой, но за то болѣе живой натурѣ его товарища. Николенка тоже охотникъ изслѣдовать самого себя; но въ его наклонности къ этому нѣтъ ничего болѣзненнаго, и малѣйшаго развлеченія достаточно, чтобы оторвать его отъ такого анализа. Молодой Нехлюдовъ, наоборотъ, съ перваго же появленія на страницахъ „Юности“ будто находится подъ бременемъ какого-то тяготящаго надъ нимъ и не совсѣмъ понятнаго для него нравственнаго долга, и мысль его постоянно занята выясненіемъ себѣ этого долга, мучительнымъ вопросомъ, способенъ-ли онъ разрѣшить стоящую передъ нимъ жизненную задачу. Нехлюдовъ по рожденію принадлежитъ къ высшему слою дворянства, и обстоятельство это рано пробудило и вызвало въ немъ неотвязчивую думу о долгѣ передъ многочисленными крѣпостными. Словомъ, Нехлюдовъ одинъ изъ представителей типа скорбящихъ аристократовъ, которыхъ такъ много было въ эпоху романтизма. Изъ числа героевъ Толстого, онъ, по крайней мѣрѣ, всего ближе подходитъ къ этому типу, хотя Толстой, вѣрный своему обычному реализму, и постарался его поставить въ рамки самой обыденной дѣйствительности. И какъ разъ благодаря этому на Нехлюдовѣ всего удобнѣе прослѣдить, какъ относится гр. Толстой не только къ романтическимъ героямъ вообще, но и къ попыткамъ людей 40-хъ годовъ достигнуть придуманной ими для себя высокой цѣли.

Девятнадцатилѣтній Нехлюдовъ, еще не кончивъ съ университетомъ, рѣшается бросить столицу и навсегда

уѣхать въ свое большое родовое помѣстье, чтобы тамъ исключительно заняться изученіемъ быта крестьянъ. Въ письмѣ къ знатной чопорной теткѣ онъ излагаетъ мотивы своего рѣшенія съ нѣкоторымъ вычурнымъ комизмомъ, но зато и съ наивною искренностью. Конечно, его ожидаютъ одни разочарованія. Его попытки сблизиться съ народомъ встрѣчаютъ глухое недовѣріе однихъ, корыстное искательство другихъ. Обойдя цѣлый рядъ крестьянскихъ дворовъ, въ этомъ заключается „Утро помѣщика“, — Нехлюдовъ возвращается домой усталый, разочарованный въ себѣ и съ страннымъ чувствомъ зависти на сердцѣ, — зависти къ встрѣченному имъ бойкому парню, у котораго въ жизни все такъ просто, ясно и опредѣленно. Но здѣсь-то и рождается вопросъ, хотѣлъ-ли Толстой, какъ дѣлалъ это такъ часто Тургеневъ, просто развѣнчать своего героя, объяснивъ его неудачу нравственною дряблостью цѣлаго сословія. Такъ думаетъ, по крайней мѣрѣ, г. Скабичевскій. Мнѣ сдается однако-жъ, что мысль Толстого и глубже и тоньше такой банальной постановки вопроса.

Толстой, конечно, подсмѣивается надъ романтическимъ увлеченіемъ Нехлюдова, но лишь тѣмъ добродушнымъ, сочувственнымъ смѣхомъ, съ которымъ онъ относится ко всѣмъ своимъ героямъ, въ томъ числѣ къ Пьеру и Левину. Иначе онъ и не могъ посмотрѣть на затѣю молодого князя, въ силу того ироническаго недовѣрія, какое вызываетъ въ немъ всякое горячее стремленіе, все отмѣченное чертою романтизма. И Нехлюдовъ разочаровывается въ своей мечтѣ не потому, чтобы на немъ лежала какая-нибудь вина, чтобы самъ онъ лично былъ не способенъ выполнить свою задачу, а потому именно, что эта задача — иллюзія, что она невыполнима ни для кого. Въ глазахъ Толстого каждая попытка единичнаго человѣка кореннымъ образомъ измѣнить къ лучшему судьбу другихъ людей, то же, что попытка двигать Сизифовъ камень. Въ „Утрѣ помѣщика“ нельзя не видѣть первый зачатокъ того взгляда, который съ такою рѣзкостью былъ высказанъ гр. Толстымъ по поводу неурожая 1891 года. Помочь народу не подъ силу высшимъ классамъ, думаетъ графъ, хотя бы ими руководили самыя лучшія побужденія. И замѣчательно, что изъ этого квіетизма Толстого — квіетизма, котора-

му онъ впрочемъ, не слѣдовалъ на практикѣ—широко открыта дорога на всѣ стороны. Основываясь на немъ, любой зачерствѣлый консерваторъ можетъ самодовольно доказывать, что народу помогать незначѣмъ. Зато съ меньшимъ правомъ можетъ сослаться на это воззрѣніе и социалистъ, утверждая, что беспомощность высшихъ классовъ въ дѣлѣ благотворительности зависитъ отъ коренной неправды самаго ихъ существованія. Но Толстой не приходитъ ни къ одному изъ этихъ выводовъ — по крайней мѣрѣ, онъ не поступалъ такъ, когда писалъ „Утро помѣщика“. Дѣло въ томъ, что міровоззрѣніе Толстого не продуктъ рефлексіи, а результатъ непосредственнаго, прямаго впечатлѣнія. Ему дѣла нѣтъ до того, согласуется-ли мысль, высказываемая имъ въ данную минуту, съ другимъ мнѣніемъ, столь же искренно высказаннымъ въ иное время.

Что гр. Толстой не думаетъ винить Нехлюдова за его неудачу, вполне явствуетъ изъ двухъ обстоятельствъ: во-первыхъ, Нехлюдову всего 19 лѣтъ, а въ такіе годы нельзя требовать глубокаго знанія народа; во-вторыхъ, даже когда онъ встрѣчаетъ полное недовѣріе въ крестьянахъ и самого себя вынужденъ уличить въ комической наивности, онъ не перестаетъ быть симпатичнымъ, какъ всегда симпатично всякое искреннее стремленіе къ добру. Одно изъ двухъ въ самомъ дѣлѣ: либо онъ не знаетъ, какъ взяться за дѣло, потому что слишкомъ молодъ, либо причиною недовѣрія крестьянъ служитъ вѣковое рабство, быть можетъ, обостренное злоупотребленіями какого-нибудь управляющаго. Ни въ томъ, ни въ другомъ молодой князь не виноватъ. Если онъ вернется въ деревню, когда ему минетъ тридцать, и сохранитъ прежнюю сердечную теплоту, ему удастся, вѣроятно, кое-что вокругъ себя перемѣнить къ лучшему, какъ удавалось оно многимъ помѣщикамъ не только при крѣпостномъ правѣ, но и послѣ освобожденія. Да наконецъ выскажу свою мысль съ полною откровенностью—едва-ли все происходило на самомъ дѣлѣ такъ, какъ увѣряетъ графъ Толстой въ своемъ „Утрѣ помѣщика“. Что Нехлюдова сплошь и рядомъ обманываютъ, что крестьяне съ непривычки озадачены его участіемъ въ ихъ судьбѣ, что онъ дѣлалъ зачастую промахи вслѣдствіе незнакомства съ ихъ бытомъ, — все это несомнѣнно и не

могло не случиться. Но чтобы богатый помещикъ не могъ при крѣпостномъ правѣ поднять благосостоянія своихъ крестьянъ, расширивъ ихъ поля, отпустивъ имъ лѣсъ на новыя избы, прикупивъ имъ лошадей,—это явная натяжка, свидѣтельствующая лишь о томъ, что въ 1852 году самъ авторъ былъ недостаточно знакомъ съ народнымъ бытомъ. Еще менѣе вѣроятно, чтобы нищій крестьянинъ Чурисъ, у котораго разваливается хата и съ трудомъ подпертая крыша грозитъ паденіемъ, чтобы этотъ Чурисъ отказался получить лѣсъ изъ помещичьей роши и неохотно принялъ деньги изъ рукъ молодого князя. Намъ, по крайней мѣрѣ, даже въ настоящее время ни разу не удалось встрѣтить крестьянъ, которые бы отказались отъ того или другого.

Этотъ взглядъ на Толстовскаго Нехлюдова еще болѣе подтверждается дальнѣйшимъ развитіемъ его характера въ двухъ другихъ рассказахъ: „Встрѣчѣ въ отрядѣ“ (56 г.) и „Люцернѣ“ (57 г.); оба они носятъ заглавіе „Изъ записокъ князя Нехлюдова“. Армейскій офицеръ въ „Встрѣчѣ“ и русскій путешественникъ за границей въ „Люцернѣ“—не только совсѣмъ уже зрѣлые люди, но поставлены они по отношенію къ окружающимъ ихъ лицамъ — и это очень рѣдкій примѣръ у Толстого — въ положеніе несомнѣнно преобладающее. Съ военными товарищами Нехлюдовъ держитъ себя просто и спокойно; безъ всякаго отѣнка заносчивости или спѣси, и его превосходство становится особенно яркимъ при сопоставленіи съ прежнимъ столичнымъ знакомымъ, разжалованнымъ вслѣдствіе какой-то исторіи и представляющимъ чрезвычайно типичную смѣсь угодливости и хвастовства. Въ „Люцернѣ“ Нехлюдовъ противопоставленъ совершенно иной средѣ — празднымъ космополитамъ, собравшимся въ швейцарскомъ отелѣ. Онъ возмущенъ безсердечіемъ, какое выказываетъ эта богатая публика къ странствующему музыканту, и совершенно явно, на глазахъ у всѣхъ, беретъ этого музыканта подъ свое покровительство, усаживаетъ съ собою, потчуетъ винами, подробно спрашиваетъ о жизни словомъ, обращается съ нимъ, какъ съ равнымъ. Быть можетъ, во всемъ этомъ есть нѣкоторая рисовка передъ собою, которая иногда побуждаетъ насъ съ трескомъ бросать обществу вызовъ,

и большею частью вызовъ самъ по себѣ бесполезный. Что Нехлюдовъ, когда онъ нянчился со своимъ музыкантомъ не столько имѣлъ въ виду помочь бѣдному артисту, сколько удовлетворить возмущенное чувство, просившееся наружу,—это несомнѣнно. При всей же практической бесплодности такихъ манифестацій, а, пожалуй, и всѣхъ манифестацій вообще—зрѣлище черствой несправедливости по отношенію къ слабымъ вызываетъ иногда такую потребность въ протестѣ, что не устоять противъ нея и самому разсудительному человѣку, если у него есть сердце. Удовлетвореніе нравственнаго чувства, конечно, не всегда ведетъ къ ожидаемымъ результатамъ, но само по себѣ оно уже результатъ не малый, хотя бы ради очищенія нравственной атмосферы. Какъ бы то ни было, въ обоихъ поименованныхъ рассказахъ симпатіи автора несомнѣнно на сторонѣ Нехлюдова и — добавлю кстади — оба они носятъ очевидный характеръ личныхъ воспоминаній. А если такъ, то ужъ нечего говорить, будто Толстой въ своемъ Нехлюдовѣ хотѣлъ изобличить дряблость и несостоятельность дворянскаго прекраснодушія.

Но—возразятъ, быть можетъ—есть и другой рассказъ, въ которомъ появляется Нехлюдовъ, именно „Записки маркера“, и въ этомъ рассказѣ надъ нимъ уже произносится немилосердный и при томъ вполне заслуженный приговоръ. Судьба героя „Записокъ“ въ самомъ дѣлѣ, не смотря на его жалкій конецъ, не вызываетъ ни симпатіи, ни сожалѣнія. При всей неспорченности, при всей наивной мягкости характера, Нехлюдовъ въ „Запискахъ“ до того слабъ и ничтоженъ, онъ такъ легко поддается самымъ незатѣйливымъ и грубымъ искушеніямъ, что возбуждаетъ скорѣе негодованіе, чѣмъ жалость. Даже раскаяніе, даже смерть не могутъ примирить съ нимъ читателя. Все это несомнѣнно. Но остается рѣшить вопросъ: Нехлюдовъ „Записокъ“ одно ли и тоже лицо съ Нехлюдовымъ „Утра помѣщика“? Сомнѣніе на этотъ счетъ можетъ возникнуть уже въ силу того, что послѣдняго зовутъ Дмитріемъ, а перваго Анатолиемъ.

На этомъ впрочемъ настаивать не буду; здѣсь могла случиться простая ошибка, не рѣдкая у Толстого: называетъ же онъ въ „Войнѣ и мирѣ“ Пьера то Безухимъ, то

Безуховымъ. Но есть доводы, болѣе существенные. „Записки маркера“ появились въ 1856 году, и если бы графъ Толстой рѣшилъ покончить такимъ образомъ съ прежнимъ своимъ Нехлюдовымъ, то въ слѣдующемъ году онъ бы не могъ въ „Люцернѣ“ рассказать эпизодъ изъ его жизни, совершенно не соотвѣтствующій такому концу. Въ самомъ дѣлѣ, Нехлюдовъ въ „Запискахъ“ и его однофамилецъ въ „Утрѣ помѣщика“ кореннымъ образомъ разнятся по характеру. Первый—человѣкъ съ надорванной волею, у котораго порывовъ хватаетъ только на удовлетвореніе самыхъ дрянныхъ страстишекъ, а громкое обличеніе самого себя отзывается риторикой. Не таковъ Нехлюдовъ въ „Утрѣ помѣщика“, во „Встрѣчѣ“, въ „Люцернѣ“: онъ увлекается, правда, но увлекается благотворительностью, онъ, быть можетъ, неловокъ въ своихъ пріемахъ, но неловокъ только по неопытности, и стыдиться ему этого не за чѣмъ. Можно поручиться, что на вино и на карты не уйдетъ его состояніе, и что, если онъ даже кончитъ самоубійствомъ, то будутъ у него иные, болѣе глубокіе мотивы, чѣмъ простая жалкая невозможность куда-нибудь дѣвать свою ненужную жизнь.

Весь разсмотрѣнный циклъ произведеній Толстого вовсе не содержитъ въ себѣ отвѣта на вопросъ, какъ слѣдуетъ жить: дидактическаго характера эти произведенія не имѣютъ. Всѣ они представляютъ лишь картины жизни, такъ сказать безотносительно къ ея нравственной цѣли, и притомъ жизни исключительно высшаго круга. Тамъ даже, гдѣ лица изъ этого круга сталкиваются съ людьми изъ низшихъ классовъ, ихъ сопоставленіе не вызываетъ передъ читателемъ никакого вопроса, требующаго разрѣшенія. Спеціальные контрасты, занимавшіе такое видное мѣсто въ литературѣ 40-хъ годовъ, какъ будто вовсе не тревожили мысли графа Толстого въ эту первую эпоху его творчества. Въ „Дѣтствѣ, отрочествѣ и юности“ представлены три степени развитія мальчика изъ дворянской семьи и дается полная обрисовка какъ самого этого мальчика, такъ и окружающей его среды, обрисовка вполнѣ правдивая, но и совершенно безпристрастная. Въ разказахъ, героемъ которыхъ является Нехлюдовъ, богатый молодой человѣкъ поставленъ лицомъ къ лицу съ людьми, стоящи-



ми ниже его; и въ своемъ искренномъ стараніи исполнить свой долгъ передъ этими людьми, Нехлюдовъ является симпатичнымъ представителемъ богатой молодежи, хотя къ результату его попытокъ Толстой и относится немного скептически. Наконецъ, въ „Запискахъ маркера“ представленъ другой типъ изъ того же класса, типъ, носящій всѣ признаки вырожденія, не въ силу своихъ дурныхъ инстинктовъ, а просто вслѣдствіе безхарактерности. Основная толстовская идея—бессиліе личности—во всѣхъ этихъ произведеніяхъ еще не доведена до полного развитія; на нее встрѣчаются только намеки, къ тому же сдѣланные въ тонѣ легкаго, добродушнаго юмора.

Къ этой группѣ повѣстей примыкаютъ еще двѣ, тоже исключительно посвященныя высшему кругу, но уже съ нѣкоторымъ идейнымъ содержаніемъ, это—„Два гусара“ и „Семейное счастье“. Здѣсь, какъ тотчасъ увидимъ, вопросъ о жизненной задачѣ уже затронуть, если и не поставленъ прямо.

Въ „Двухъ гусарахъ“ выведены представители двухъ послѣдовательныхъ поколѣній одной и той же семьи. Графъ Турбинъ — отецъ, одинъ изъ самыхъ яркихъ толстовскихъ героевъ, щедро надѣленъ пороками: онъ картежникъ и пьяница, онъ промоталъ состояніе; законъ не существуетъ для его залихватской удали, и съ простою, азбучною честностью онъ обходится иной разъ очень безцеремонно. Все это выкупается однимъ: мотивы его буйныхъ поступковъ безкорыстны; онъ великодушенъ и храбръ, онъ всегда готовъ постоять за обиженнаго, и чувство высшей, такъ сказать инстинктивной, правды въ немъ живо. Двадцать лѣтъ спустя мы встрѣчаемся съ его сыномъ, офицеромъ того же гусарскаго полка. Онъ полнѣйшій контрастъ своего отца: щепетильно аккуратный и необыкновенно осторожный, онъ никогда не заводитъ исторій и не дѣлаетъ долговъ, но за то всѣ его помыслы основаны на расчетѣ; помощи отъ него ждать нечего; на товарища онъ смотритъ лишь съ точки зрѣнія выгоды и, всегда приличный въ обращеніи, онъ, на самомъ дѣлѣ, трусь и лжець. Можно-ли этихъ людей признать за настоящихъ представителей двухъ поколѣній, конечно, подлежить спору, но что сорви-голова отецъ лучше мелкаго эгоиста-сына,—это,

кажется, сомнѣнію не подлежитъ и, добавлю мимоходомъ, фигура Турбина отца — одно изъ рѣдкихъ толстовскихъ созданій, до нѣкоторой степени окрашенныхъ романтизмомъ.

Въ „Семейномъ счастьи“ (59 г.) такихъ контрастовъ нѣтъ; въ этой повѣсти проведена идея, что надо умѣть смиряться предъ неизбѣжною прозою жизни и довольствоваться сѣренькимъ счастьемъ, потому что иное, болѣе высокое, — слишкомъ хрупко. И мудры тѣ, которые, познавъ разочарованіе, не горюютъ объ разбитомъ идеальномъ счастьѣ, мирятся на взаимномъ прощеніи. Такимъ образомъ, въ этихъ двухъ повѣстяхъ, отдѣленныхъ одна отъ другой всего трехлѣтнимъ промежуткомъ, симпатіи Толстого склоняются въ совершенно противоположныя стороны. Въ „Двухъ гусарахъ“ онѣ принадлежатъ буйному представителю лихой старины съ ея молодецкимъ безправіемъ, и современная посредственность — аккуратная, но безсердечная, — жалка и ничтожна въ сравненіи съ поэзіей былой удали. Три года спустя, въ „Семейномъ счастьѣ“, Толстой учитъ довольствоваться осколками разбитыхъ идеаловъ, когда миновало время сладкихъ, обманчивыхъ увлеченій. Неизбѣжная проза жизни уже не представляется чѣмъ-то ненавистнымъ, а, напротивъ, въ умѣнїи ею довольствоваться Толстой видитъ истинную жизненную мудрость, а стало быть и жизненную правду.

Мы переходимъ теперь къ другому циклу повѣстей и рассказовъ, гдѣ уже на первомъ планѣ стоитъ тревожный вопросъ о настоящей цѣли жизни, о томъ, что слѣдуетъ дѣлать человѣку, чтобы жить и умереть хорошо. Сюда мы отнесемъ „Севастопольскіе очерки“ (56 г.), „Набѣгъ“ (52 г.), „Три смерти“ (59 г.) и „Казаковъ“ (61 г.). Страшная севастопольская эпопея, въ которой Толстой участвовалъ самъ, натолкнула его, быть можетъ, впервые на грозный вопросъ о смерти, который позже такъ часто носился передъ его воображеніемъ. Уже нѣсколько ранѣе правда, именно въ 52 году, въ небольшомъ рассказѣ „Набѣгъ“ онъ коснулся этого вопроса, и коснулся совершенно въ томъ же духѣ, какъ въ „Севастопольскихъ очеркахъ“. Молодой кавказскій офпцеръ, только что надѣвшій эполеты, идетъ въ первое дѣло, какъ на праздникъ; онъ исполненъ

наивныхъ ожиданій славы и шума и необыкновенно миль въ своемъ ребяческомъ восторгѣ, которому не грезится даже возможная опасность. И вотъ вмѣсто славы и блеска онъ встрѣчаетъ смерть и смерть даже не въ бою, а случайную, пассивную, не громкую смерть. Умираетъ онъ такъ же безсознательно, какъ передъ тѣмъ шелъ въ дѣло, и точно нѣжною рукой закрываетъ его отроческіе глаза блѣдный призракъ неожиданной гости. Контрастъ между громкими ожиданіями и быстрымъ, нелѣпымъ, безцѣльнымъ концомъ—этотъ любимый Толстымъ контрастъ здѣсь уже ярко выступаетъ какъ злая насмѣшка надъ жизнью, со всей жалкой тщетой ея лучшихъ стремленій. И примирить этотъ контрастъ можетъ, по мысли Толстого, только одинаковое смиреніе передъ обманомъ жизни и передъ загадкой смерти. Все-таки же здѣсь эта суровая мысль не оставлена грозными картинами. Смерть подкрадывается невзначай, требуя себѣ жертвъ по одиночкѣ.

Не то было подъ Севастополемъ. Эпизоды кавказской войны—чистая идиллія въ сравненіи съ побоищемъ одиннадцатимѣсячной осады. И какъ разъ потому, что здѣсь носилась огульная массовая смерть, что отдѣльный человѣкъ совершенно терялся почти незамѣченнымъ. Толстому пришлось къ грозной картинѣ войны примѣнить свой любимый приѣмъ и лишить ее мнимо-поэтическаго и мнимо-геройскаго ореола. Не людей онъ развѣнчиваетъ, какъ дѣлаютъ это иные, а самыя событія. У Толстого человѣкъ не потому слабъ, чтобы ему не хватало энергіи, а потому, что эта энергія ничто передъ огромностью задачи, передъ подавляющею силой массоваго боя. Рисуя же такими маленькими своихъ дѣйствующихъ лицъ, Толстой не поэтизируетъ и массы; онъ чуждъ и того романтизма, который скрадываетъ индивидуальныя страданія участниковъ боя подъ внѣшней грандіозностью картины пушечнаго грома и побѣдныхъ кликовъ. Какъ талантъ глубоко аналитическій, Толстой не поддается искушенію широкими размахами кисти набросать блестящую картину общаго боя,—хотя сдѣлать онъ это сумѣлъ бы, чему доказательствомъ служитъ описаніе Аустерлица и Бородина въ „Войнѣ и мирѣ“. Онъ твердо помнитъ, что, какъ бы ни безсиленъ и ничтоженъ былъ человѣкъ, все-таки му-

чится и умираетъ онъ индивидуально, и грандіозность событія рзвѣнчивается въ концѣ-концовъ, подъ впечатлѣніемъ личныхъ страданій. „Севастопольскіе очерки“ въ литературѣ—явленіе совершенно подобное военнымъ картинамъ Верещагина въ живописи, съ тѣмъ однако различіемъ, что Верещагинъ, рисуя ужасы войны, отнимаетъ у нея всю идеальную сторону, а у Толстого изъ-за физически-ужаснаго всегда просвѣчиваетъ нравственная высота; только высоту эту онъ понимаетъ не въ смыслѣ отваги и блеска выдающагося подвига, а видитъ ее въ безсознательномъ смиреніи тѣхъ офицеровъ и солдатъ, которые совершенно просто исполняютъ свой долгъ, не подозрѣвая даже, что въ этомъ есть что-то великое. И всякую попытку рисоваться, всякую виѣшнюю красоту Толстой караетъ въ своихъ севастопольскихъ бойцахъ такъ же немилосердно, какъ дѣлаетъ онъ это съ любимъ ходульнымъ героемъ, выступающимъ на мирномъ поприщѣ какой-нибудь гостиной. Величіе только въ простотѣ, и вотъ почему настоящій герой севастопольскихъ очерковъ — это вся русская армія, вся толпа безыменныхъ. Герой этотъ великъ потому именно, что онъ не подозрѣваетъ своего величія, что каждый изъ участниковъ этой толпы, страдая лично, индивидуально, не рассчитываетъ на личную славу.

Еще рельефнѣе та же идея выражена въ рассказѣ „Три смерти“ (59 г.), гдѣ рядомъ съ безпокойной агоніей свѣтской барыни и безропотнымъ концомъ простолюдина представленъ конецъ дерева, съ величавой безсознательностью падающаго подъ ударами топора. И лучшая изъ трехъ смертей, по мнѣнію Толстого, послѣдняя. Въ этомъ рассказѣ можно, пожалуй, увидѣть демократическую тенденцію, если бы дереву не было отдано предпочтеніе въ равной мѣрѣ предъ обоими представителями различныхъ общественныхъ слоевъ. Этимъ сопоставленіемъ мысль Толстого пріобрѣтаетъ несомнѣнно для насъ еще большую силу, и смѣлость такого вывода, конечно, могла его прельстить. Мнѣ сдается, однако, что здѣсь, какъ и во всемъ, что касается человѣческаго духа, крайнее напряженіе дедуктивной логики имѣетъ свою обратную сторону и что возвеличивать безсознательное—значить, въ сущности, прямо итти противъ своего же тезиса. Самое понятіе о доб-

рѣ и элѣ, а лжи и правдѣ исчезаетъ тамъ, гдѣ нѣтъ болѣе ощущенія. Безсознательность хороша, когда она касается оцѣнки собственнаго достоинства, но она перестаетъ быть заслугой, какъ скоро относится къ самому страданію, физическому и нравственному. Севастопольскіе солдаты не сознавали себя героями, быть можетъ, но страдали они совершенно реально. И едва-ли сумѣли бы они отстоять стѣны города втеченіе одиннадцати мѣсяцевъ, если-бы у нихъ была только одна пассивная безсознательность дерева.

Если тема разсказовъ, о которыхъ было сейчасъ говорено, главнымъ образомъ вращается около вопроса, какъ слѣдуетъ умирать, то повѣсть „Казаки“ (61 г.) посвящена другому вопросу—какъ лучше, т. е. проще жить. Понятіе о лучшей жизни, т. е. въ сущности понятіе этическое, сводится Львомъ Толстымъ къ первобытной простотѣ этой жизни. Богатый молодой человѣкъ Оленинъ, тяготясь своей изнѣженной праздностью, ѣдетъ служить на Кавказъ и тамъ попадаетъ въ Гребенскую станицу. Онъ прельщается нравами гребенцовъ, ихъ грубоватой непосредственностью, безыскусственнымъ проявленіемъ ихъ искреннихъ или, говоря попросту, животныхъ инстинктовъ. Онъ всячески старается и самого себя передѣлать, подражая складу ихъ жизни,—проводитъ цѣлые вечера, выпивая чихирь со старымъ казакомъ Ярошкой, заискиваетъ въ бойкомъ молодцоватомъ парнѣ Лукашкѣ, наконецъ, влюбляется въ дочь своего хозяина, красавицу Марьянку, и даже готовъ на ней жениться. Въ своемъ дневникѣ онъ подробно описываетъ совершившееся въ немъ прозрѣніе жизненной правды и довольно-таки витіевато клеймитъ искусственность и ложь цивилизованной жизни. Старанія его, однако, оказываются неудачными: хитрые, при всей своей первобытности, гребенцы встрѣчаютъ его попытки съ недоверіемъ, отчасти даже надъ нимъ глумятся. Лукашка, которому онъ подарилъ лошадь, подозрительно недоумѣваетъ, съ какой затаенной цѣлью сближается съ нимъ богатый молодой баринъ. Хозяева, родители Марьянки, у которыхъ онъ просиживаетъ цѣлые часы, при всемъ своемъ добродушіи, подумываютъ, какъ бы его получше оплести. Въ своемъ ухаживаніи за Марьянкой онъ обнаруживаетъ

робкую неловкость и на вечеринкахъ у одного товарища, у котораго собираются мѣстные красавицы, рѣшительно не знаетъ, какъ себя держать. Словомъ, гребенцамъ онъ оказывается совсѣмъ не ко двору, и хотя Марьянка, влюбленная въ Лукашку, сперва выказываетъ Оленину благосклонность, она въ концѣ концовъ, узнавъ о смерти возлюбленнаго, гонитъ отъ себя молодого офицера какъ нельзя болѣе обиднымъ для него образомъ. По идеѣ и по содержанию „Казаки“, какъ видно, очень близко подходятъ къ Пушкинскимъ „Цыганамъ“. И тамъ, и здѣсь культурный герой хочетъ обновиться въ свѣжей атмосферѣ первобытныхъ нравовъ. И оба они — Пушкинскій Алеко и Толстовскій Оленинъ — являются въ одинаковой степени неспособными къ такому перерожденію. Пушкинъ и Толстой, несмотря на то, что первый развилъ свою тему на романтической почвѣ, а второй доводитъ реализмъ описанія почти до грубости, говорятъ одно и то же, говорятъ, что не къ лицу человѣку столицы искусственно подлаживаться къ чуждой ему обстановкѣ, потому что такая попытка сама ничто иное, какъ ложь. Различна только развязка: трагизма „Цыганъ“ у Толстого нѣтъ и Оленину не пришлось совершить надъ Марьянкой кровавую расправу, да и не изъ тѣхъ онъ, которыхъ обманутая страсть доводитъ до преступленія.

Благодаря этому Оленинъ и лишень того поэтическаго ореола, который все-таки присущъ Алеко. Преступный герой въ нашихъ глазахъ всегда симпатичнѣе героя смѣшного. Есть, впрочемъ, между обоими писателями и другое отличіе. Пушкинъ, если онъ и произнесъ устами стараго цыгана приговоръ надъ своимъ Алеко, едва-ли, на самомъ дѣлѣ, сочувствовалъ первобытной дикости кочевыхъ нравовъ, едва-ли признавалъ за ними какое-либо превосходство надъ культурною жизнью. Въ его глазахъ, какъ уже имѣлъ случай замѣтить, вина Алеко заключается не въ томъ, что онъ не сумѣлъ ужиться съ первобытной средой: настоящая, еще болѣе непростительная вина въ самой его попыткѣ искусственно передѣлать себя въ первобытнаго человѣка. Толстой, наоборотъ, склоненъ, повидимому, рѣшительно стать на сторону своихъ казаковъ. Быть можетъ, служба на Кавказѣ, онъ самъ испытывалъ нѣчто по-

добное восторгамъ Оленина. Смысль его повѣсти таковъ, что Оленинъ не сумѣлъ опроститься, по винѣ-ли своего воспитанія, или потому, что былъ лишенъ способности сближаться съ непривычною средой. Толстой не думаетъ, повидимому, что самое такое сближеніе по существу нелѣпость и что никакого прочнаго счастья образованный человѣкъ не можетъ найти, женившись на какой-нибудь Марьянкѣ. Въ этомъ отношеніи, т. е. съ точки зрѣнія идеи, реалистъ Толстой дальше отъ правды, чѣмъ романтикъ Пушкинъ. Но въ то же время, благодаря его художественной чуткости, эта самая правда беретъ свое; нельзя сказать, чтобы онъ представилъ своихъ казаковъ въ слишкомъ привлекательномъ свѣтѣ. Не говоря уже о томъ, что у нихъ господствуетъ самое откровенное распутство, всѣ они оказываются нечуждыми и довольно-таки грубаго расчета. Родители Марьянки заываютъ къ себѣ Оленина съ чисто корыстными цѣлями; Лукашка получаетъ выкупъ за тѣло убитаго имъ Абрека и хвастается тѣмъ, что укралъ у другого горца лошадь; Марьянка далеко не наивно кокетничаетъ съ Оленинымъ, а одна ея подруга просто идетъ на содержаніе къ его товарищу. Нельзя сказать, чтобы все это было особенно красиво. И лучшимъ доказательствомъ, что культурный человѣкъ все-таки можетъ прекрасно уживаться съ первобытными гребенцами, служить этотъ самый товарищъ, который дружить съ ними, какъ нельзя лучше, и является общимъ любимцемъ женской молодежи станицы. Повидимому, культурному человѣку надо только не идеализировать первобытную среду и между казачками отыскивать себѣ не жену, а временную подружку. Когда Толстой писалъ „Казаковъ“, онъ, очевидно, не задавался аскетическими идеями „Крейцеровой сонаты“. Это видно хотя бы изъ того, что въ жизни своихъ гребенцовъ онъ съ сочувствіемъ относится ко всѣмъ ея проявленіямъ, даже къ тѣмъ ночнымъ прогулкамъ Лукашки, которыя очень близко граничатъ съ нравами животныхъ. Такимъ образомъ, на основаніи толстовскихъ „Казаковъ“ въ сущности ни къ какому выводу прійти нельзя. Нѣсколько тенденціозная идея повѣсти не подтверждается ея содержаніемъ, благодаря тому, что Толстой, хоть и увлеченъ первобытною простотою гребенцевъ, все таки не прикра-

силъ дѣйствительности въ угоду своему увлеченію. Какъ бы наперекоръ темъ, эта простота не обусловливаетъ собою особенно высокихъ нравственныхъ качествъ. Не такъ поступали писатели XVIII вѣка, любившіе ставить въ примѣръ разлагавшемуся культурному обществу идеальную чистоту нравовъ дикарей. Они не скупились на краски, чтобы представить въ возможно яркомъ поэтическомъ колоритѣ своихъ краснокожихъ индѣйцевъ, одаренныхъ и благородствомъ, и великодушіемъ и цѣломудріемъ паразитическимъ, и мужествомъ необыкновеннымъ, конечно, все это было списано не съ дѣйствительности, а сочинено въ виду предвзятой темы. Толстой, издавшій своихъ „Казаковъ“ воочію, не покусился на такую идеализацію. Онъ любитъ ими, со всѣми ихъ недостатками. Но даже въ тѣ моменты разсказа, гдѣ его симпатіи всего болѣе явно на ихъ сторонѣ, онъ не скрадываетъ ни одной ихъ некрасивой черты, ни одного грубаго чувства. Даже при этихъ условіяхъ они остаются для него привлекательными. И если онъ ошибался, то лишь въ своемъ увлеченіи, котораго они не заслуживаютъ, а не въ оцѣнкѣ ихъ нравственнаго облика. Въ этой оцѣнкѣ онъ остается вполнѣ правдивымъ, какъ настоящій реалистъ и великій писатель.

„Казаками“ заканчивается первый періодъ литературной дѣятельности Толстого, послѣ котораго наступилъ довольно длинный перерывъ, исключительно занятый педагогическими трудами. Этотъ перерывъ какъ разъ совпалъ съ движеніемъ шестидесятихъ годовъ прошлаго столѣтія, въ которомъ графъ Левъ Толстой не принялъ непосредственнаго участія.

---

## „Война и миръ“.

Кульминаціонная точка, какой достигла русская беллетристика, — два капитальныхъ произведенія графа Толстого: „Война и миръ“ и „Анна Каренина“. Едва-ли въ цѣлой всемірной литературѣ найдется крупное созданіе челоувѣческаго генія, въ которомъ объемъ и содержаніе со-



отвѣтствовали бы другъ другу въ такой степени, какъ въ этихъ двухъ колоссальныхъ картинахъ русскаго общества. Самъ Толстой ни прежде, ни позднѣе не достигалъ этой полной гармоніи, свидѣтельствующей о томъ, что сюжетъ и его исполненіе, идея и ея конкретный образъ зародились въ душѣ художника одновременно и безраздѣльно. Въ „Войнѣ и мирѣ“ и въ „Аннѣ Карениной“ нѣтъ ни одного пѣтриха, обличающаго, чтобы какая-нибудь фигура или положеніе были нанизаны на придуманную заранѣе тему или, наоборотъ, идея была пристегнута къ готовому уже образу. Заднихъ мыслей и, пожалуй, мыслей тенденціозныхъ у Толстого въ обоихъ этихъ романахъ очень много. Много ихъ особенно въ „Войнѣ и мирѣ“. Нетрудно, однако, убѣдиться, что это простой наростъ въ колоссальномъ, здоровомъ тѣлѣ, и наростъ этотъ, какъ мохъ на стволѣ, можно снять, не повредивъ коры. Если изъ „Войны и мира“, гдѣ субъективному философствованію отведено особенно широкое мѣсто, выкинуть всѣ постороннія разсужденія, всю теорію историческаго фатализма, романъ останется цѣль и невредимъ, и ни одна изъ его фигуръ не утратитъ своей яркой рельефности. Сами по себѣ эти разсужденія важны и интересны, какъ пособіе для характеристики міровоззрѣнія Толстого. Для оцѣнки его художественнаго творчества они безразличны. Графъ Левъ Николаевичъ представляетъ собою любопытный примѣръ совершеннаго разъединенія между дѣятельностью ума и работою фантазіи. Тамъ, гдѣ онъ творитъ безсознательно, переработывая въ себѣ внѣшніе образы, онъ однимъ, повидимому, легкимъ взмахомъ достигаетъ неподражаемаго совершенства. Какъ скоро онъ принимается за анализъ и хочетъ данное явленіе разложить на составныя части, или, наоборотъ, когда онъ пытается среди жизненной пестроты уловить ея отвлеченный синтезъ, онъ путается въ опредѣленіяхъ, въ аналогіяхъ, даже въ логическихъ выводахъ. Ясновидѣніе художника какъ бы мѣшаетъ дальнозоркости мыслителя. И въ этомъ—да проститъ мнѣ такое замѣчаніе гениальный авторъ „Войны и мира“—сказывается у графа Толстого какъ бы женская черта, — наклонность перепутывать логическое мышленіе съ непосредственнымъ чувствомъ, доводы разума съ впечатлѣніями сердца. И вотъ

почему, тоже, какъ у женщинъ, противорѣчія, въ которыя онъ впадаетъ безпрестанно, не разрушаютъ цѣльности его художественной фигуры. Сами эти противорѣчія какъ бы становятся одной изъ ея основныхъ чертъ.

До „Войны и мира“, въ раннихъ произведеніяхъ Толстого, тенденціозность, задняя мысль, притомъ скажу откровенно, мысль довольно часто колебавшаяся, проникала собою все произведеніе, смѣшивалась съ его конкретнымъ содержаніемъ. Оттого-то здѣсь тенденція и не слишкомъ была въ глаза. Въ „Войнѣ и мирѣ“ выдѣленіе совершилось. Тенденціозная идея сама по себѣ, художественная картина—тоже. Первая выступаетъ въ своей голой, неприглядной искусственности, если можно такъ выразиться, но за то тѣмъ совершеннѣе вторая. Въ „Аннѣ Карениной“ отдѣлать одно отъ другого не такъ легко. Не легко по двумъ причинамъ. Тенденціозныя идеи здѣсь не собраны какъ бы въ отдѣльный пучекъ, а понемногу разлиты по цѣлому роману. Притомъ эти идеи довольно противорѣчиваго свойства. Видно, что умъ Толстого находился въ періодѣ самой горячей внутренней борьбы, и несходныя теченія шли въ немъ параллельно.

„Война и миръ“ и „Анна Каренина“ стали теперь всемірнымъ достояніемъ, одинаково роднымъ всѣмъ образованнымъ людямъ. При своемъ же появленіи они не сразу завоевали себѣ живую популярность среди русскихъ читателей, и въ этомъ отношеніи имъ гораздо болѣе посчастливилось за границей. Особенно замѣтно это сказалось на „Аннѣ Карениной“, къ которой наша критика отнеслась на первыхъ порахъ далеко несимпатично. Въ числѣ теперешнихъ поклонниковъ Толстого есть такіе, которые встрѣтили этотъ романъ почти съ насмѣшками. А если припомнить, что даже такой крупный умъ, какъ Тургеневъ, отзывался о „Войнѣ и мирѣ“ довольно пренебрежительно, придется сказать себѣ, что и крупнымъ и зауряднымъ русскимъ людямъ надо было сперва войти во вкусъ манеры Толстого, чтобы вполне оцѣнить его. А между тѣмъ Толстой обладалъ ужъ громкимъ литературнымъ именемъ, когда его историческій романъ сталъ появляться въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Что же новаго было здѣсь въ манерѣ художника?

Возьмемъ для сравненія „Казаковъ“ — послѣднее изъ раннихъ произведеній Толстого. Рельефность образовъ, яркость рисунка, наконецъ, небрежливое отношеніе къ деталямъ быта, иной разъ намѣренно тривіальнымъ—всѣ эти отличительныя особенности „реализма“ Толстого въ „Казакахъ“ уже имѣются на лицо. Но есть въ нихъ и нѣчто иное; нѣчто какъ бы завѣщанное болѣе раннимъ литературнымъ поколѣніемъ. Герой „Казаковъ“ — Оленинъ, по старинному рецепту, признанъ говорить отъ имени автора, хотя послѣдній съ нимъ часто не соглашается и даже разоблачаетъ его несостоятельность. Въ то же время весь сюжетъ повѣсти носитъ характеръ спорной темы, конфликта, не даннаго жизнью, а внесеннаго въ нее извнѣ. Все это приемы, до извѣстной степени, искусственные. Въ результатѣ оказывается, что очень много мѣста отведено резонерству героя и его внутреннему раздвоенію, что всѣ дѣйствующія лица какъ бы выведены для того лишь, чтобъ собою нѣчто доказать.

Всего этого въ „Войнѣ и мирѣ“ уже нѣтъ. Объектомъ творчества здѣсь является сама жизнь, какова она есть, или, вѣрнѣе, — каковою она отражается въ фантазій автора. Подчеркиванія, искусственной группировки, преднамѣренныхъ сопоставленій здѣсь нѣтъ и слѣда. „Война и миръ“ ровно ничего не доказываетъ и не пытается доказать. Она только „показываетъ“, какова была Россія въ эпоху наполеоновскихъ войнъ. И художникъ, не какъ фотографическій аппаратъ, конечно, а какъ живой, отзывчивый организмъ, воспроизводитъ ея жизнь, съ спокойнымъ, широкимъ сочувствіемъ. Говорю: съ „широкимъ“ потому, что онъ относится одинаково ко всѣмъ явленіямъ этой жизни, даже, — страшно сказать—къ крѣпостному праву. Это не сочувствіе сторонника опредѣленной партіи, желающаго въ прошломъ уловить дорогія ему современныя черты, а сочувствіе высшаго существа, съ одинаковымъ мягкосердіемъ смотрящаго и на высокія стремленія людей, и на ихъ мелкія ошибки. И въ то же время это не олимпійское равнодушіе Гете, которому дорога одна отвлеченная красота мысли: Толстому дороги именно люди, притомъ родные, русскіе люди; но всѣ они дороги ему одинаково, каковы бы не были они, — высокіе или низкіе, пре-

красные или уродливые. Ловкій царедворецъ, князь Василій Курагинъ, съ своей распутной дочерью Элень, и жесткій эгоистъ, пройдоха Долоховъ ничуть не вызываютъ негодованія Толстого. Онъ видитъ въ нихъ лишь продукты среды, интересные для наблюдателя,—и только. Говорить же въ немъ здѣсь не безсердечіе французскаго натуралиста, смотрящаго на человѣка, какъ на матеріаль для изслѣдованія, а какое-то снисходительное признаніе человѣческой слабости и ничтожества самой быстротечной жизни. Эта черта какъ будто сближаетъ Толстого съ Достоевскимъ. Для полнаго сходства недостаетъ только того страстнаго заступничества за виновныхъ, какое постоянно звучитъ у автора „Преступленія и наказанія“. Толстой не волнуется никогда, потому что самая вина, и страданіе тоже, ему кажется чѣмъ-то безконечно мелкимъ,—мелкимъ до того, что и страданіе, и вина перестаютъ для него будто существовать вовсе. Можно, пожалуй, допустить, что въ этой безмятежной жалости есть какъ бы отзвукъ древней классической драмы, что-то похожее на спокойный трагизмъ Софокла, видящаго въ злодѣянιάхъ и въ скорбяхъ своихъ героевъ лишь неумолимую волю боговъ. Въ этихъ боговъ, конечно, Толстой не вѣритъ, и едва-ли даже ихъ мѣсто въ его душѣ замѣнилъ единый Богъ христіанства. Вѣяніе же безымяннаго рока все-таки какъ бы носится надъ судьбой его дѣйствующихъ лицъ и придаетъ ихъ поступкамъ какую-то безотвѣтственность.

И все это нисколько не мѣшаетъ Толстому въ „Войнѣ и мирѣ“ являться писателемъ въ высшей степени тенденціознымъ, конечно, только не въ томъ смыслѣ, какой этому слову придавали шестидесятники. Тенденція здѣсь не политическаго, а чисто философскаго свойства. Но, какъ я уже сказалъ, ей отведено въ романѣ особое мѣсто точно авторъ „Войны и мира“ счелъ нужнымъ комментировать свое произведеніе и тѣмъ самымъ дать ключъ къ пониманію великой эпопеи революціи и наполеоновскихъ войнъ. Можно откинуть его толкованіе, не согласиться съ его теоріей безличности историческихъ событій, и романъ все-таки останется во всемъ своемъ монументальномъ величіи, какъ яркое изображеніе цѣлой эпохи.

Мнѣ могутъ, конечно, сказать: философско-историческое ученіе Толстого — ничто иное, какъ примѣненіе къ массовымъ событіямъ его же взгляда на судьбу отдѣльныхъ людей. Надъ тѣмъ и другимъ, по его понятіямъ, одинаково тяготѣетъ анонимный рокъ, далеко не похожій на христіанское Провидѣніе, но всетаки менѣе слѣпой и бездушный, чѣмъ прославляемая матеріалистами премудрая и всезнающая природа. Это, конечно, такъ, и я выше уже имѣлъ случай указать на эту основную черту міросозерцанія графа Льва Николаевича.

Толстой видитъ одну комичную беспомощность во всемъ, что говорятъ такъ называемые великіе люди, мнящіе себя руководителями исторіи. Во всемъ, что дѣлаетъ Наполеонъ и въ Тильзитѣ, и, позднѣе, на Бородинскомъ полѣ сраженія и во время занятія имъ Москвы, авторъ „Войны и мира“ видитъ одинъ рядъ либо совершенно безсвязныхъ и не идущихъ къ дѣлу, либо тщеславныхъ, бющихъ на эффектъ, и потому тоже очень мелкихъ поступковъ. И когда, для контраста съ вѣчно суетящимся геніальнымъ французскимъ полководцемъ, Толстой выводитъ передъ нами неповоротливаго скептика Кутузова, наканунѣ Бородина занятаго чтеніемъ какого-то романа, мысль художника бьетъ въ глаза своей яркостью. Мудрымъ, по его мнѣнію, оказывается тотъ, кто не вѣритъ въ себя и событіямъ даетъ совершаться помимо своего участія. На самомъ дѣлѣ, какъ думаетъ авторъ, мнимые руководители исторіи — только жалкіе фигуранты, дѣлающіе видъ, что двигаютъ нитью событій. Единственнымъ творцомъ этихъ событій является толпа неудержимо, хотя и бессознательно передѣлывающая по своему измышленія своихъ вождей. А надъ нею, въ смутномъ туманѣ, чувствуется какая-то невидимая, непонятная, но всемогущая рука, и ей одной эта толпа повинуется. Опять-таки же даже въ этомъ такъ ярко подчеркнутомъ контрастѣ нельзя подмѣтить искаженія, поддѣлки исторической картины въ угоду предвзятой теоріи. Толстому разъ на всегда люди кажутся паяцами, выдѣлывающими только для виду разные жесты, между тѣмъ какъ ихъ держать за проволоку рука фокусника. Такими ему представляются и частная жизнь и жизнь историческая. Вѣрно или невѣрно подобное міросозерцаніе —

это другой вопрос. Но такими „кажутся“ Толстому люди на самомъ дѣлѣ, и онъ добросовѣстно передаетъ намъ ихъ образы, какъ они отражаются въ его фантазіи. И какъ разъ потому, что мысль о безотвѣтственности человека окончательно овладѣла его умомъ, въ „Войнѣ и мирѣ“ онъ и достигъ полной объективности. Негодовать на людей, указывать, предписывать имъ что-либо, очевидно, нельзя, коль скоро они являются лишь автоматами. Остается одно—воспроизвести, разложить на мельчайшія составныя части совершающійся внутри этихъ людей психическій процессъ. Вѣдь изъ того, что, на самомъ дѣлѣ, вмѣсто живой души у нихъ оказывается только сложный механизмъ, работа этого механизма не перестаетъ быть интересною. Разновидности инстинктовъ и стремлений, какіе вложены въ натуру животного, именуемаго человекомъ, могутъ складываться въ очень своеобразныя сочетанія. И никто не сравнялся съ Толстымъ въ умѣнии изслѣдовать и воспроизводить эти сочетанія. Строго говоря, къ огромной картинѣ „Войны и мира“ Толстой примѣнилъ ту же детальную работу, которая дала такіе поразительно яркіе, блестящіе результаты въ маленькомъ этюдѣ, посвященномъ дѣтству и отрочеству Николеньки Іртенева. Оригинальность колоссальнаго романа и заключается въ этомъ перенесеніи миниатюрной отдѣлки на полотно огромныхъ размѣровъ. И этого, повидимому, не поняла сразу русская публика. Она привыкла къ широкимъ, крупнымъ мазкамъ кисти Гончарова, къ ударамъ ланцета, которымъ въ самой глубинѣ души копаются Достоевскій, къ нѣжнымъ штрихамъ Тургенева, скорѣй подсказывающимъ, чѣмъ дорисовывающимъ образъ. Кропотливое аналитическое письмо въ большой исторической картинѣ было для нея чѣмъ-то совершенно новымъ.

И эта новизна какъ разъ и составляетъ оригинальность приѣма Толстого. Умѣніемъ вызывать цѣльный образъ передъ читателемъ, путемъ накопленія мелкихъ штриховъ—въ такой мѣрѣ не обладалъ до него ни одинъ художникъ. И можно только изумляться, какъ вопреки законамъ перспективы, такой детальной рисовкѣ удается создавать впечатлѣніе бьющей ключемъ жизни цѣлой страны, да еще въ великій историческій моментъ.

Примѣненіе же микроскопическаго анализа и къ міровымъ событіямъ, и къ психологіи отдѣльнаго человѣка имѣетъ и свою опасную сторону. Конечно, микроскопъ позволяетъ глубже проникать въ тайники совершающагося процесса, но онъ за то мѣшаетъ обнять явленіе въ цѣлой совокупности. Дробя его, мы рискуемъ не подмѣтить его основной черты, убить въ немъ, такъ сказать, жизненный нервъ. Несомнѣнно, что любое крупное, массовое событіе на самомъ дѣлѣ разлагается на милліоны ничтожныхъ, даже пошлыхъ деталей. И когда намъ представляютъ картину какого-нибудь сраженія, въ которомъ мы сыздѣтства пріучились видѣть исполненіе геніальнаго плана десятками тысячъ самоотверженныхъ героевъ, когда такое сраженіе намъ рисуютъ какъ совокупность безчисленныхъ, единичныхъ и, притомъ, зачастую нелѣпыхъ поступковъ, мы невольно поражены неожиданностью. Въ душѣ каждаго изъ насъ на подобное толкованіе готова сочувственно откликнуться та затаенная склонность къ ироніи, къ завистливому опошленію всего великаго, какая живетъ въ душѣ каждаго зауряднаго человѣка. То же повторяется и съ великодушными поступками отдѣльныхъ людей, когда ихъ вывертываютъ на изнанку, отыскивая въ нихъ рядъ мелкихъ, себялюбивыхъ, даже презрѣнныхъ мотивовъ. Такое извращеніе ходячихъ понятій и традиціоннаго поклоненія великому всегда можетъ разсчитывать на успѣхъ. Но, увы,—низкая сторона человѣческаго сердца, какую заставляетъ звучать этотъ пріемъ, не представляетъ изъ себя чего-либо новаго, неизвѣданнаго до Толстого. Стоитъ припомнить *Иліаду* и *Терсита*, чтобы сказать себѣ, какъ старо глумленіе надъ крупными проявленіями человѣческой души и надъ историческими движеніями массъ, вызванными безкорыстнымъ энтузіазмомъ. Велика заслуга Толстого, когда онъ съ поразительнымъ ясновидѣніемъ допытывается до сокровенныхъ мотивовъ изображаемыхъ имъ дѣйствующихъ лицъ. Ни одинъ писатель до него не обладалъ такимъ совершеннымъ и тонкимъ аппаратомъ для изслѣдованія психики—это безспорно. И смутныя, иногда безсознательныя ощущенія людей всякаго возраста и положенія ему одинаково доступны. Отъ причудливаго кокетства двѣнадцатилѣтней дѣвочки, въ сердцѣ которой чуть брезжетъ про-

снующаяся чувственность, до сложныхъ и глубокихъ колебаній угасающей жизни въ утонченной натурѣ князя Андрея, отъ грубой, первобытной наивности Платона Каратаева до рѣзкихъ внутреннихъ переворотовъ въ мистическомъ, хоть и невѣрующемъ умѣ Пьера Безухова, отъ ребяческаго военнаго энтузіазма шестнадцатилѣтняго Пети Ростова до замороженнаго жизненнымъ опытомъ старика Кутузова,—всѣ отгѣнки, всѣ стадіи психическаго настроенія открыты пониманію Толстого и передаются имъ одинаково рельефно.

Изъ этого же не слѣдуетъ еще, будто психическаго единства нѣтъ вовсе и психологическіе атомы не складываются въ цѣлостную духовную силу, какъ не складываются въ организованное войско толпы единичныхъ солдатъ. Не слѣдуетъ также, что не существуетъ сознательнаго великодушія, сознательнаго благородства и возможны самоотверженная любовь и беззавѣтное мужество только для простаго, не разсуждающаго сердца пылкаго юноши или добродушнаго простолюдина. Неправда, что княжна Марія Болконская, молясь передъ трупомъ любимаго отца, могла ощущать только физическій ужасъ; неправда, что умный Кутузовъ, только что передъ тѣмъ совершившій за Дунаемъ блестящій маневръ и, нѣсколько дней послѣ Бородина, такъ удачно исполнившій геніальный обходъ позиціи Наполеона,—чтобъ этотъ самый Кутузовъ могъ отрицать значеніе полководца для арміи. Знакомые ему примѣры Макка и Вейротера могли его достаточно убѣдить въ противномъ. И не совсѣмъ удобно было примѣнять эту своеобразную философію исторіи какъ разъ къ наполеоновскимъ походамъ.

Какъ объяснить въ самомъ дѣлѣ, помимо военнаго генія, пятнадцатилѣтніе постоянные успѣхи, между тѣмъ какъ лишенное своего полководца то же самое французское войско постоянно давало себя бить Веллингтону? И вѣдь тотъ же Наполеонъ, какъ скоро имъ завладѣло слѣпое желаніе сперва покорить цѣлую Европу, а потомъ вернуть все потерянное, сталъ терпѣть неудачу за неудачей, потому что, подобно древнимъ титанамъ, онъ свою колоссальную силу сталъ направлять къ недостижимой цѣли. Что такое, въ самомъ дѣлѣ, военный геній, какъ не умѣніе



вѣрно оцѣнить и себя и противника и сразу открыть путь, ведущій къ побѣдѣ,—другими словами, умѣние располагать средствами, какія въ данную минуту находятся въ рукахъ?

Итакъ, если Толстой обнаружилъ поразительную геніальность въ пониманіи затаенныхъ и мелочныхъ движеній человѣческой души, онъ обнаружилъ столь же поразительную слѣпоту въ отрицаніи связи между поступками человѣка и его жизнью, между психическими мотивами съ одной стороны и фактами исторіи съ другой. Отрицать эту связь—значило, въ сущности, разрывать нить, соединяющую послѣдствія съ причиной.

И вопреки ему самому, этотъ великій отрицатель субъективной воли, какъ оно всегда и бываетъ съ геніями, создалъ цѣлый рядъ примѣровъ, вопіющихъ противъ его теоріи. Стоитъ взглянуть въ судьбу его героевъ, и нельзя не замѣтить полного логическаго соотвѣтствія между ихъ характеромъ и тѣмъ, какъ складывается ихъ жизнь. Въ „Войнѣ и мирѣ“ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ можно раздѣлить на двѣ группы, — на тѣхъ, которые активно воздѣйствуютъ на свою и на чужую жизнь, всегда подчиняясь извѣстному основному побужденію, и на тѣхъ, которые безвольно отдають себя теченію. Къ первымъ относятся, кромѣ двухъ воюющихъ императоровъ, прежде всего князь Андрей Болконскій и его старикъ-отецъ, Долоховъ, вся семья Курагиныхъ и героиня романа, Наташа Ростова. Ко вторымъ,—Пьеръ Безуховъ, графъ Ростовъ-отецъ, княжна Марія и Платонъ Каратаевъ. Къ нимъ же, насилуя исторію, Толстой попытался присоединить и Кутузова. Нечего и говорить, что всѣ симпатіи автора на ихъ сторонѣ. На полпути между ними стоитъ храбрый, стремительный, пылкій Николай Ростовъ, не дающій себѣ только труда заранѣе намѣтить планъ жизни, и быстро увлекаемый впечатлѣніями минуты. Присоединимъ его, пожалуй, тоже ко второй группѣ. Нельзя не замѣтить поразительной разницы въ отношеніи автора къ тѣмъ и другимъ. Какъ распорядитель судьбы своихъ героевъ, Толстой будто караетъ первыхъ за ихъ попытку къ самостоятельности, расточая всѣ свои милости вторымъ. Оставляя опять въ сторонѣ историческихъ лицъ, надъ судьбою которыхъ онъ не былъ

волень, мы видимъ, что неудача преслѣдуетъ какъ развѣтъхъ изъ героевъ „Войны и мира“, которыхъ наиболѣе щедро надѣлила природа, одаривъ ихъ въ особенности энергической волей. Единственное исключеніе составляетъ Долоховъ, проходящій черезъ весь романъ, какъ олицетвореніе необузданной, ни передъ чѣмъ не останавливающейся смѣлости. Долохова казнить не судьба, а только нѣмой приговоръ автора. Какъ лицо второстепенное, онъ могъ, впрочемъ, изобразить собою торжествующее зло, не нарушая этимъ общаго міросозерцанія художника. Натуры, окончательно замкнувшіяся въ эгоизмъ и безъ колебаній отдавшіяся культу успѣха, большей частью и проходятъ черезъ земную жизнь безъ особыхъ невзгодъ. Не такова участь тѣхъ людей, въ которыхъ мягкіе инстинкты гуманности не подавлены себялюбіемъ,—натуры, виновныя тѣмъ лишь, что гордо пытаются въ жизни достигнуть намѣченной цѣли, ставя себѣ выше окружающей среды. Князь Андрей не эгоистъ, подобно Долохову, или, по крайней мѣрѣ, его эгоизмъ утонченнаго свойства. Одинъ матеріальный успѣхъ князя Андрея не удовлетворяетъ. Онъ носитъ съ мыслями о служеніи родинѣ и мечтаетъ стать однимъ изъ самыхъ вѣрныхъ и полезныхъ ея слугъ. Бѣда лишь въ томъ, — бѣда, конечно, по мнѣнію Толстого, что блестящій князь не только не олицетворяетъ въ себѣ народныхъ идеаловъ, а въ своемъ презрѣніи къ толпѣ, повинаясь лишь измышленіямъ гордаго ума, думаетъ принести родинѣ пользу. Его широкая душа открыта любви къ людямъ, но, служа имъ, онъ хочетъ ихъ вести за собою. И первое мѣсто въ его воображеніи всегда занимаютъ не они, а самъ онъ, князь Андрей, избранникъ судьбы, призванный осуществить великую идею вѣка. И вотъ вмѣсто лавроваго вѣнка, вмѣсто ожидаемой власти, его сторожить смерть. И является она почти желанной гостьей, потому что даже въ своей частной жизни князь Андрей не нашелъ себѣ самага зауряднаго семейнаго счастья. Невѣста, которую онъ полюбилъ, какъ ему казалось самую искреннею и полною любовью, грубо его обманула. И князь Андрей смутно чувствуетъ, что это заслуженный обманъ, что, въ сущности, его сухая любовь, на половину сотканная изъ чувственности, не могла удовлетворить свѣжее серд-

це дѣвушки, что ея молодой натурѣ было холодно въ обществѣ преждевременно состарѣвшагося честолюбца.

Наташа Ростова, въ свою очередь, должна нести наказаніе за порывы къ независимости. Она не заражена гордостью князя Андрея и не помышляетъ подняться выше своихъ близкихъ. При всей своей поэтической граціи, Наташа даже заурядная натура. Избалованная же съ ранняго дѣтства, она совсѣмъ чужда понятія о нравственномъ долгѣ, и духъ непокорности владѣетъ ея пылкимъ, причудливымъ сердцемъ. Съ раннихъ поръ грезы о блестящемъ, выходящемъ изъ ряду героѣ овладѣли ея воображеніемъ. А когда этотъ герой явился въ лицѣ Андрея Болконскаго, и Наташа смутно поняла, что стать его женой — значить утратить самостоятельность, дѣвушка такъ же быстро отвернулась отъ жениха, какъ отдала ему прежде свою любовь. Увлеченіе же грубой красотой Анатолія Курагина также мало принесло ей счастья, какъ и быстро потухшая страсть къ Андрею. И въ концѣ концовъ ей пришлось удовольствоваться незавидною участью жены Пьера Безухова, народить ему дѣтей, стать, по выраженію автора, „удовлетворенной самкой“. Толстой намѣренно сорвалъ поэтическій вѣнокъ со своей героини, какъ бы покаравъ ее за попытку выйти изъ колеи обыденнаго счастья. И многимъ читателямъ, вѣроятно, казалось, что это опошленіе Наташи испортило для нихъ ея чарующій образъ. Большинства женщинъ, конечно, въ зрѣлые годы касается немилосердная рука жизненной прозы, но особой необходимости это непосредственно показывать читателю, въ угоду реализму, не было для автора „Войны и мира“. Не зачѣмъ было въ особенности представлять Наташу довольной своей незавидной судьбой преждевременной деревенской матроны.

Въ глазахъ Толстого, впрочемъ, заурядное, невзыскательное счастье имѣетъ, быть можетъ, извѣстную прелесть. Такимъ счастьемъ наградила онъ и другое лицо романа, Наташинаго брата, Николая, женивъ его на далеко не красивой и не молодой уже княгинѣ Маріи. Перу Толстого удалось, конечно, скрасить что было непривлекательнаго въ женитьбѣ Николая, основанной, въ сущности, на расчетѣ. Внимательный же читатель все-таки чувствуетъ себя

не совсѣмъ ловко при мысли, каковъ идеаль счастья геніальнаго художника, если только въ судьбѣ Николая не скрывается затаенной ироніи.

Итакъ, вотъ какова дилемма: натурамъ сильнымъ и самонадѣяннымъ — разочарованіе, горе, даже смерть; натурамъ мягкимъ, нѣсколько вялымъ, напротивъ, — всякое благополучіе, точно волна успѣха ихъ носить на себѣ. Стоитъ же всмотрѣться попристальнѣе, и картина представится нѣсколько иной. Не всякій позавидуетъ тому счастью, какое выпадаетъ на долю излюбленнымъ героямъ Толстого, въ особенности Пьеру Безухову. Съ широкимъ образованіемъ и огромнымъ богатствомъ, онъ рѣшительно не знаетъ, что съ собою дѣлать, и польза, какую онъ приноситъ родинѣ, очень сомнительнаго свойства. Въ какомъ-то полуснѣ онъ проходитъ черезъ весь романъ, какъ послушная жертва любого захватившаго его теченія. Пьера женятъ противъ воли на бездушной и безнравственной дѣвушкѣ, которой онъ не любитъ. Пассивно онъ дѣлается и женихомъ и обманутымъ мужемъ, не пытаясь даже отстаивать свое достоинство. И во время дуэли съ Долоховымъ онъ остается безучастнымъ, точно его подтолкнула драться чья-то посторонняя рука. Своими имѣніями онъ управлять не въ силахъ, и крѣпостные бурмистры его такъ же водятъ за носъ, какъ люди его круга. Вольнодумецъ французской школы, онъ подпадаетъ, незамѣтно для себя, подъ вліяніе масоновъ и становится мистикомъ. Апатичное безучастіе не покидаетъ его даже въ страшную годину отечественной войны. Онъ слоняется по Бородинскому полю, какъ незванный гость, невзначай попавшій въ чужой домъ. И охваченный какой-то галлюцинаціей, онъ также безцѣльно слоняется по горящей Москвѣ и самымъ нелѣпымъ образомъ попадаетъ къ французамъ въ плѣнъ. Подозрѣваемый въ поджогъ, онъ едва уходитъ изъ-подъ французскихъ пуль и вмѣстѣ съ своимъ новымъ другомъ Каратаевымъ идетъ по грязнымъ дорогамъ вслѣдъ за отступающей арміей Наполеона. Толстой увѣряетъ насъ, что никогда Пьеръ не чувствовалъ себя такимъ счастливымъ, какъ въ эти дни, потому что всякая воля надъ собою у него окончательно отнята. Воли у него, дѣйствительно, нѣтъ никакой, нѣтъ съ первой страницы романа до послѣдней, и вся его полубезсозна-

тельная жизнь — ничто иное, какъ неизбежное послѣдствіе этого отсутствія инициативы. Толстому угодно выдавать за идеаль такое низведеніе свободнаго человѣка до уровня растенія или моллюска, и это отрѣшеніе отъ себя гениальный художникъ выдаетъ за полное счастье. Смѣю думать, что всякій, въ комъ течетъ не рыба кровь, такимъ идеаломъ не воодушевится.

Такое же соотвѣтствіе между судьбою и основными чертами характера замѣчается и у князя Андрея. Всѣ его неудачи и, въ особенности, тотъ червь разочарованной тоски, отъ котораго онъ не можетъ освободиться, — вовсе не плоды излишней, самонадѣянной энергіи, а совсѣмъ напротивъ. У князя Андрея порывы сильны и планы широки, выполненіе же не соотвѣтствуетъ задачамъ. Въ сущности у него много сходства, съ тургеневскими „лишними людьми“. И онъ зараженъ, какъ они, преобладаніемъ ума надъ волей, медленнымъ ядомъ анализа, не дающимъ сложиться въ душѣ никакому сильному, непосредственному чувству, отравляющимъ горечью равнодушія каждое наслажденіе. И когда, раненый на смерть, онъ полубезсознательно доживаетъ послѣдніе часы, безучастный даже къ ласкамъ Наташи, князь Андрей въ ясныя минуты понимаетъ это прекрасно. Безъ сожалѣнія онъ разстается съ жизнью, понимая, что она не въ силахъ дать ему никакихъ радостей. И неудачникомъ онъ является не потому, что слишкомъ дерзки его требованія, а потому, что онъ быть счастливымъ не умѣетъ, что удача не по плечу скептическому изяществу его въ сущности холодной души.

Переходя отъ частной жизни героевъ Толстого къ его исторической картинѣ, и здѣсь нельзя не сдѣлать поправки къ предлагаемому имъ толкованію. Кутузовъ побѣдилъ не потому, что смиренно отдавалъ себя и свою армію на волю обстоятельствъ. Вѣрно оцѣнивая и себя и свое войско, онъ не хотѣлъ, ради блеска выигранной битвы, ставить на карту вѣрный успѣхъ, когда у него были такіе союзники, какъ голодъ и морозъ. Здѣсь былъ расчетъ, а не пассивная бездѣятельность, расчетъ тонкій и вѣрный, хоть, можетъ быть, и не геройскій. И если кампанія не закончилась громовымъ ударомъ, если подъ Бороново Наполеонъ не былъ взятъ, то причиной здѣсь

былъ не рокъ, не безсознательное дѣйствіе какихъ-то смутныхъ историческихъ силъ, а вполне сознательные мотивы—лукавая медлительность Кутузова, не захотѣвшаго раздѣлить побѣду съ двумя другими главнокомандующими, излишній пылъ Чичагова и завистливая уклончивость Витгенштейна. Результаты и здѣсь оказались въ полномъ согласіи съ дѣйствіями людей и съ ихъ затаенными расчетами.

---

### „Анна Каренина“ гр. Л. Толстого.

Въ „Аннѣ Карениной“ не такъ отчетливо и ярко, какъ въ „Войнѣ и мирѣ“, проведенъ контрастъ между двумя противоположными началами, — гордымъ индивидуализмомъ и смиреннымъ подчиненіемъ высшей силѣ, конкретной представительницей которой является народная масса. Въ „Войнѣ и мирѣ“ этотъ контрастъ выраженъ и въ лицѣ двухъ главныхъ героевъ, князя Андрея и Пьера Безухова, и въ противоположеніи мирнаго русскаго народа завоевательному духу Запада. Въ „Аннѣ Карениной“, гдѣ дѣйствіе съ широкой исторической сцены спускается въ область обыденной жизни, та же идея проведена болѣе мягко, и внутренняя борьба происходитъ уже не между враждебными полчищами, даже не между отдѣльными лицами, а, если такъ можно выразиться, внутри самыхъ этихъ лицъ, въ ихъ индивидуальной душѣ. Первоначальное названіе, которое Толстой хотѣлъ дать своему роману, могло бы навести на мысль, что авторъ противопоставитъ патриархальную Москву придворно-чиновному Петербургу. Если же поближе всмотрѣться въ картину жизни обѣихъ столицъ, нельзя не признать, что обѣ онѣ въ одинаковой мѣрѣ, если не въ тѣхъ же формахъ, представляютъ собою зрѣлище суетнаго и лживаго тщеславія, какъ бы привитаго къ здоровой жизни простого народа. Можно бы было, пожалуй, искать олицетворенія коренной мысли Толстого въ контрастѣ между столицей и деревней. Но и въ провинціи, какъ нарисована она въ „Аннѣ Карениной“ оказывается немало элементовъ суеты и самомнѣнія. Мѣст-

ные дѣятели, главнымъ представителемъ которыхъ служить Свѣягинъ, вращаются въ такомъ же кругу мнимыхъ и ложныхъ интересовъ, какъ петербургскіе карьеристы съ одной стороны и московскіе ученые съ другой. Всѣ они въ одинаковой мѣрѣ преисполнены ложной вѣры въ самихъ себя, въ плодотворность своихъ начинаній, въ силу индивидуальнаго разума. Всѣ они забываютъ, что правда, — конечно, по мнѣнію графа Толстого, — не дана отдѣльному человѣку, что вмѣщается она лишь въ безсознательномъ народномъ духѣ и что воспринять ее можно не гордымъ умомъ, а лишь чутьемъ сердца. Даже любимый герой автора, Константинъ Левинъ, этотъ прямой наслѣдникъ Пьера Безухова, не успѣваетъ до самой послѣдней страницы романа вполне очиститься отъ навѣянныхъ извнѣ тлетворныхъ идей. Левинъ по духу близокъ народу и дорогъ автору. Онъ ѣдко, хоть и добродушно, высмѣиваетъ городскую сутолоку, со всѣми ея мишурными интересами. Онъ не только не пытается по своему передѣлать жизнь, накладывая на бытъ деревни дерзновенную печать своей европейской образованности, — онъ, напротивъ, силится въ самого себя впитать первобытный народный духъ; сблизиться съ простолюдиномъ, пріобщая себя къ его грубой работѣ. Въ его лицѣ Толстой преподаетъ намъ первый урокъ оздоровленія путемъ физическаго труда. Левинъ, подобно своему творцу, не только не вѣритъ въ послѣднее слово науки, — онъ отрицаетъ самую плодотворность общественной дѣятельности, увѣряя, что человѣкъ тамъ только можетъ трудиться, гдѣ онъ заинтересованъ лично. И тѣмъ не менѣе, эта проповѣдь эгоизма мирится у него оригинальнымъ образомъ съ проходящими иной разъ черезъ его голову мечтами социалистическаго свойства. Въ знаменитой сценѣ охоты онъ на ночлегѣ вступаетъ въ споръ съ Облонскимъ и Весловскимъ, вдругъ охваченный сознаниемъ незаконности пользованія чужимъ трудомъ, противоположности самаго понятія и вознагражденія за работу. Словомъ, Левинъ вмѣщаетъ въ себѣ, какъ бы въ зародышѣ, то міросозерцаніе, которое впоследствии Толстой развилъ въ своихъ философскихъ произведеніяхъ. Вдобавокъ, отсутствіе инициативы доведено въ Левинѣ до того, что онъ лишенъ всякой способности примѣниться къ условіямъ

реальной жизни. Такъ, въ день своей свадьбы онъ опаздываетъ въ церковь, заставляя себя ждать слишкомъ цѣлый часъ, на дворянскихъ выборахъ онъ не знаетъ, какому кандидату положить направо, и спрашиваетъ объ этомъ громко. Когда въ деревнѣ къ нему пріѣзжаетъ Весловскій, онъ ревнуетъ къ нему жену оттого лишь, что та любовно принимаетъ гостя, и, не давая себѣ труда скрыть нелѣпую ревность, грубо выпроваживаетъ Весловскаго изъ дома. И, тѣмъ не менѣе, этотъ первобытный, сырой человѣкъ не вполне свободенъ отъ вѣяній цивилизации. Она заразила его невѣріемъ, почерпнутымъ изъ тѣхъ же научно-философскихъ доктринъ, къ которымъ онъ относится такъ презрительно. При всемъ своемъ неуваженіи къ учености, онъ поддается иной разъ искушенію и свое и крестьянское хозяйство обновить на европейскій ладъ. Свое оригинальное міросозерцаніе, сотканное изъ противорѣчій, Левинъ силится привести въ стройную систему, изложить его на бумагѣ, то есть опять-таки подчинить строгимъ рамкамъ опредѣленной доктрины. Разумѣется, книгу ему дописать не удастся, какъ не удастся ему въ любомъ спорѣ договориться до опредѣленнаго вывода, ясно формулировать свои взгляды. Онъ только чувствуетъ инстинктомъ коренную ошибочность всѣхъ теоретическихъ построеній, основанныхъ на логикѣ, не будучи въ состояніи указать, въ чемъ ошибка.

Левинъ же все-таки пытается отыскать другую, тоже рациональную точку опоры для своихъ взглядовъ. И тогда только онъ постигаетъ, что такой опоры человѣкъ себѣ найти не можетъ, когда, въ самомъ концѣ романа, онъ подслушиваетъ мужика, безхитростно выражающаго безусловную покорность Богу. Тутъ ему открывается, наконецъ, истинный смыслъ жизни, а для насъ, читателей, и смыслъ романа, противопоставляющаго искусственной, суетной жизни высшихъ классовъ простыя вѣрованія народа, его смиренную покорность власти надъ нимъ природы и быта. Позволительно, однако, замѣтить, что полученное Левинымъ впечатлѣніе черезчуръ мелко и случайно, чтобъ уравновѣсить всю нарисованную авторомъ огромную картину русскаго общества и дать ключъ къ ея пониманію. То, что услышалъ Левинъ въ этотъ радостный для него день,



онъ могъ услышать тысячу разъ отъ любого мужика. И странно, что раньше онъ не находился подъ впечатлѣніемъ подобныхъ рѣчей. Откровеніе, котораго онъ искалъ такъ долго, было у него подъ рукой. Отчего же онъ не прозрѣвалъ до сихъ поръ, если прозрѣлъ въ этотъ день? Внутренняго переворота въ немъ самомъ вѣдь не происходило. И въ сущности, тотъ Богъ, въ котораго внезапно увѣровалъ Левинъ, не христіанскій Богъ, требующій отъ человѣка, конечно, покорности, но требующій въ то же время и собственнаго почина. Это увѣ, Богъ Нирваны и буддизма. Кто знаетъ, — можетъ быть, исходъ, котораго такъ болѣзненно доискивался Левинъ, и самому его творцу мерещился лишь въ полутѣмѣ неясныхъ догадокъ. Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что самъ Толстой послѣ своего перерожденія не вышелъ на торный путь простыхъ народныхъ вѣрованій и во имя своихъ личныхъ, субъективныхъ выводовъ отвернулся отъ народнаго православія такъ же рѣшительно, какъ отъ его нѣсколько искаженной европейской формы, — отъ православія культурныхъ классовъ. Стало быть, откровеніе, на мигъ озарившее колеблющійся умъ Левина, все-таки не было окончательнымъ.

Если приходится, такимъ образомъ, идеѣ романа дать нѣсколько иное освѣщеніе, чѣмъ хотѣлъ это сдѣлать самъ авторъ, передвинуть, такъ сказать, фокусъ лучей, въ которомъ Толстой собралъ особенно ярко свои единичныя мысли, нельзя все-таки не признать, что въ „Аннѣ Карениной“ необыкновенно глубоко схвачена основная тема его творчества,—контрастъ между суетной мишурной жизнью города и безыскусственной правдой жизни, не оторванной отъ природы. Тема эта не принадлежитъ одному Толстому. Какъ неизмѣнная нота, она болѣе или менѣе искренно, болѣе или менѣе сильно, звучитъ у cadaго изъ нашихъ великихъ писателей. Она слышится уже въ „Евгеніи Онѣгинѣ“, этомъ прародителѣ русскаго романа, она носилась въ фантазіи Лермонтова, скорѣе, правда, какъ поводъ къ риторическимъ возгласамъ, чѣмъ какъ задушевное выраженіе сердечной скорби. Принимались за нее не разъ Тургеневъ и Гончаровъ, хотя, быть можетъ, не съ полною искренностью, скорѣе отдавая дань обязательному культу

деревни, чѣмъ дѣйствительно проникнутые любовью къ простотѣ ея склада. Для Достоевскаго, совсѣмъ не знавшаго деревни, эта нота раздавалась, какъ болѣзненный укоръ всей накопившейся въ человѣческой душѣ искаженности понятій и вкусовъ. Съ настоящей же, можно сказать, съ органической полнотой тема эта была разработана однимъ Толстымъ. Она неотступно преслѣдовала его фантазію то смутными, то яркими образами, какъ результатъ не умственного анализа, а непосредственного, инстинктивного воспріятія. Толстой нигдѣ не даетъ формулы своего требованія правды, какъ дѣлали это на Западѣ такъ часто Руссо и Жоржъ-Зандъ. И всякій разъ, что впоследствии онъ пытался точно высказать, въ чемъ заключается ложь нашей культурной жизни, онъ оказывался вынужденнымъ дать одностороннее объясненіе, отождествляя ее то съ наукой, то съ язычествомъ, то, наконецъ, съ самымъ государственнымъ строемъ. За то, если Толстому искомый контрастъ не давался въ видѣ формулы, онъ понималъ его чутьемъ съ необыкновенной силой. И въ цѣлой всемірной литературѣ не отыщется произведенія, гдѣ бы конкретные образы выражали этотъ контрастъ съ такою яркостью, какъ въ „Аннѣ Карениной“.

Своеобразность конструкціи этого романа заключается именно въ томъ, что контрастъ этотъ содержится въ душѣ каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ,—и у Вронскаго, и у Каренина, и у Николая Левина, и у самой Анны. Свободенъ отъ него одинъ только Облонскій, сибаритская натура котораго находится въ полномъ уравнившемъ покоѣ. Облонскій въ „Аннѣ Карениной“ занимаетъ почти такое же мѣсто, какъ Николай Ростовъ въ „Войнѣ и мирѣ“. Они сводятъ все къ возможности пріятно и неустомительно проводить жизнь среди матеріальныхъ удовольствій, знаменательно же,—какъ измѣнился взглядъ автора. Николай Ростовъ пользуется его симпатіей. Въ искренней, грубоватой невыскаченности его вкусовъ Толстой видитъ тоже, какъ будто, выраженіе непосредственной правды, хотя правды невысокаго полета. Стива Облонскій, не смотря на цѣлый рядъ привлекательныхъ качествъ, — и въ этомъ сказалось огромное мастерство Толстого, тѣмъ не менѣе носить на себѣ печать отверженія. Его веселый, самодо-

вольный оптимизмъ ничто иное, какъ признакъ окончательнаго, непоправимаго разрыва съ правдой. Это спокойствіе тѣхъ, отъ которыхъ отвернулась истина и которымъ тьма кажется свѣтомъ. И замѣчательно, что Толстой передаетъ читателю такое впечатлѣніе, нигдѣ не выражаясь отрицательно о Стивѣ, который не перестаетъ быть милымъ и забавнымъ. Это внутреннее созвучіе между художникомъ и читателемъ, — созвучіе, не требующее опредѣленныхъ словъ для своего выраженія, — и есть та высшая ступень творчества, до которой можетъ доходить писатель. Толстой не прибѣгаетъ здѣсь ни къ подчеркиваніямъ, ни даже къ простоту анализу, какъ дѣлаютъ это сплошь и рядомъ другіе великіе художники, въ томъ числѣ Тургеневъ и Достоевскій. Его фигуры прямо, непосредственно стоятъ передъ нашей фантазіей, не нуждаясь въ комментаріяхъ. Пластика слова достигаетъ здѣсь того совершенства, при которомъ получается нѣчто похожее на зрительное впечатлѣніе.

Совершенно то же можно повторить и о прочихъ лицахъ романа. Отдѣльныя черты не только ихъ характера, но и внѣшняго ихъ облика до того слились въ нѣчто цѣльное и единое, что разсѣкать ихъ путемъ анализа, какъ дѣлала это постоянно критика даже съ фигурой Евгенія Онѣгина, нѣтъ никакой возможности. Нельзя даже сказать, умные-ли они или ограниченные люди, хорошіе или злые. Надо воспроизвести въ себѣ самомъ тотъ именно актъ, какой происходилъ у Толстого во время ихъ созданія, надо ихъ непосредственно воспринять, какъ рельефные, живые образы.

Вотъ почему, строго говоря, не зачѣмъ искать ключа къ героямъ „Анны Карениной“. Оцѣнивать ихъ, истолковывать, произносить надъ ними приговоръ дѣло совершенно праздное. Тому, кто не видитъ ихъ передъ собой ясно, они не скажутъ своего секрета. Слѣдуетъ особенно замѣтить это по отношенію къ главной героинѣ: что за женщина Анна, изъ какихъ отдѣльныхъ качествъ слагается ея натура,—опредѣлить нельзя. Она вся — непосредственное очарованіе, непосредственная страсть, не отдающая никому отчета и непослѣдовательная въ своихъ проявленіяхъ. Большаго о ней сказать нечего. Права она или нѣтъ—

этотъ вопросъ даже и въ голову не приходитъ читателю, несмотря на эпиграфъ романа, какъ бы ее косвенно осуждающій. И мнѣ очень хотѣлось бы этотъ эпиграфъ понять не въ томъ смыслѣ, что Толстой произноситъ надъ нею приговоръ, а въ томъ, что и надъ вымышленными художественными созданіями, какъ скоро они дѣйствительно служатъ живыми образами настоящихъ людей, судъ принадлежитъ не намъ. Нашъ умъ и наша совѣсть не въ силахъ проникнуть въ ту сокровенную область, гдѣ создается нравственная отвѣтственность, и настоящая мѣра вины не въ предѣлахъ нашего пониманія.

Да и зачѣмъ непременно судить? Пусть Анна, со своимъ грѣхомъ, со своимъ обаятельнымъ легкомысліемъ, своей ужасною, нелѣпою смертью, остается для насъ загадкою, какъ любое челоѣческое существо, съ какимъ мы встрѣчаемся въ жизни. Она на вѣкъ останется живымъ изображеніемъ женскаго очарованія и женской слабости. Если въ двѣ рѣшительныя минуты своей жизни—когда она бѣжитъ отъ мужа за границу, вмѣсто того, чтобъ согласиться на предлагаемый разводъ, и когда, инстинктивно сознавая охлажденіе Вронскаго, она выводитъ его изъ терпѣнія, дѣлая ему одну сцену за другой,—если въ эти двѣ рѣшительныя минуты Анна поступаетъ какъ разъ вопреки разсудку, она тѣмъ не менѣе воплощаетъ въ себѣ ту своеобразную, не поддающуюся логикѣ гармонию женской души, которую разстраиваетъ грубое прикосновеніе черствой мужской послѣдовательности. И какъ разъ въ этомъ образѣ Анны оставилъ за собой всѣ женскія фигуры, созданныя прочими художниками, за единственнымъ, быть можетъ, исключеніемъ гетевской Маргариты.

Несравненно менѣе удалась Толстому другая героиня,—жена Левина, Китти. И странное дѣло: ему, повидимому, не стоило никакихъ усилій нарисовать отдѣланную до совершенства фигуру Анны, а Китти, на описаніе которой онъ потратилъ много труда, въ которой онъ видитъ чуть не идеаль русскаго женщины, осталась блѣдною и незаконченною. Мы не ощущаемъ на себѣ ея обаянія, и въ воображеніи нашемъ она обрисовывается скорѣе отрицательными качествами—нѣкоторою заурядностью ума и характера, приравнивающей ее къ толпѣ самыхъ обыкно-

венныхъ женщинъ. Не слѣдуетъ забывать, конечно, что въ этомъ сліяніи съ толпой, въ этой утратѣ личности Толстой силится найти драгоцѣнное свойство. Но здѣсь любимая идея оказала ему какъ разъ плохую услугу, исказивъ, вопреки его стараніямъ, юную прелесть его второй героини.

За то, что за рядъ неподобныхъ фигуръ представляютъ собою Каренинъ, Вронскій, Николай Левинъ! Съ какой отчетливостью, съ какимъ совершенствомъ сливаются въ типическій образъ ихъ отдѣльныя черты—бюрократическая сухость съ истиннымъ величіемъ смиренія въ обманутомъ мужѣ Анны, условная испорченность гвардейскаго франта съ неподдѣльнымъ великодушіемъ въ лицѣ Вронскаго, у котораго погоня за искусственнымъ блескомъ общественнаго положенія не затмила способности трезво и правдиво относиться къ себѣ; наконецъ, изломанный узкою доктриной ограниченный умъ Николая Левина, съ поразительно-мягкой простотой его неиспорченнаго сердца. Рѣдко можно встрѣтить въ литературномъ произведеніи такое гармоническое примиреніе исключających другъ друга контрастовъ, такое ясновидѣніе въ отысканіи испускающихъ свойствъ у самыхъ антипатичныхъ натуръ. Душевный организмъ всѣхъ этихъ людей открытъ передъ нами съ полной ясностью, открытъ не путемъ кропотливаго анализа, а прямо, непосредственно, будто волна электрическаго свѣта проникаетъ во всѣ его сокровенные углы. Въ этомъ секретъ глубокаго, обаятельнаго дѣйствія Толстого на читателейъ всего образованнаго міра.

Сліяніе добра со зломъ въ одной и той же душѣ, какъ оправданіе для однихъ, какъ отрезвляющій урокъ для прочихъ ни у одного романиста, даже у Бальзака, не доведено до такого совершенства. И если Толстому иногда кажется, что человѣкъ — безсознательный и потому безответственный рабъ своихъ инстинктовъ, то, вопреки своей теоріи, авторъ „Анны Карениной“ далъ намъ столько примѣровъ руководящаго воздѣйствія психическаго склада на жизнь, что теорію можно спокойно отбросить, наслаждаясь гармонической полнотой изображенія.

## Характеристика творчества Ф. М. Достоевского и „Бѣдные люди“.

Достоевскому издавна дано прозвище пѣвца „униженныхъ и оскорбленныхъ“. Однако не въ этомъ состоитъ отличительное свойство его направленія. Заступникомъ обдѣленныхъ жизнью выступалъ не одинъ Достоевскій: сочувствіе къ нимъ звучитъ почти у всѣхъ нашихъ крупныхъ писателей.

Оригинальность Достоевскаго въ томъ лишь, какъ это сочувствіе у него выражается. Подмѣтитъ особенность его взгляда на слабыхъ и беззащитныхъ всего удобнѣе на первой его повѣсти, не смотря на то, что „Бѣдные люди“, быть можетъ, наименѣе самостоятельное изъ его произведеній, что и по формѣ и по содержанію оно, очевидно, навѣяно Гоголемъ.

Макаръ Дѣвушкинъ—родной братъ Акакія Акакіевича (герой повѣсти „Шинель“), но это-то сходство какъ разъ помогаетъ разглядѣть неодинаковость отношенія обоихъ писателей къ своимъ героямъ. Черты, какими обрисованъ Акакій Акакіевичъ, исключительно внѣшнія и благодаря этому его фигура, даже вызывая жалость, никогда не перестанетъ быть комичной. Одни внѣшнія проявленія нищеты и забитости, какъ бы грустны они не были, могутъ вызвать лишь нѣсколько насмѣшливое состраданіе, именно потому, что мы не видимъ, не чувствуемъ воздѣйствія жизненнаго гнета на душу забитаго человѣка, что душа эта относится къ нему совершенно пассивно. Не то съ Макаромъ Дѣвушкинымъ; онъ тоже смиряется передъ своей жалкой долей, не предъявляетъ къ жизни никакихъ требованій; протеста у него тоже нѣтъ и слѣда,—а между тѣмъ Макару Дѣвушкину мы сочувствуемъ, насъ глубоко волнуетъ его судьба. И происходитъ это оттого, что, не смотря на всю его безотвѣтственность, видимъ, что онъ страдаетъ, страдаетъ глубоко, хотя кротко и безропотно; и кротость эта не только не смѣшна, она высока, геройски высока въ своемъ смиренномъ терпѣніи. Мы сознаемъ, что передъ нами не комическая фигура, служащая мишенью для всѣхъ насмѣшекъ беспощадной жизни и не чув-

ствующая этого, а такой же человекъ, какъ мы, отзывчивый на оскорбленія, но только не отвѣчающій на нихъ взрывомъ негодованія. Дѣвушкину немного нужно — его идеалы самые крохотные; но изъ-за этого онъ презрѣнія не заслуживаетъ, потому что источникъ его непритязательности — не въ умственной ограниченности, не въ грубости вкусовъ, а въ скромномъ представленіи о своихъ правахъ на счастье. И если жизнь не даетъ ему даже этого крохотнаго благополучія, отъ этого трагичность его судьбы только усиливается. Дѣло въ томъ, что фигура, созданная художникомъ, всегда примѣтнѣе и виднѣе сквозь призму его собственнаго представленія о ней и сочувствовать ей мы можемъ тогда только, когда онъ самъ ей сочувствуетъ.

Пресловутая объективность, которая такъ часто выставляется заслугою, не должна доходить до индифферентизма, если художникъ желаетъ не только насъ заинтересовать, но и растрогать. И, какъ разъ, Достоевскій въ высшей степени обладаетъ способностью вызвать участіе читателя къ жалкой судьбѣ своихъ униженныхъ и оскорбленныхъ. Достигаетъ же онъ этого, рисуя передъ нами не горькую картину ихъ безсильной борьбы противъ жизни, а какъ разъ напротивъ — картину ихъ безропотнаго смиренія передъ нею. Въ этомъ и заключается его близкое родство съ идеалами славянофиловъ. Намъ уже извѣстно, что наше національное движеніе выставило какъ высокую нравственную черту русскаго народа его терпѣливое смиреніе, преклоняясь передъ этимъ смиреніемъ, какъ передъ лучшимъ свойствомъ его природы. Славянофилы искали своихъ лучшихъ людей не среди протестующихъ борцовъ за самостоятельность человѣческой личности, а среди кроткихъ страдальцевъ, въ которыхъ они видѣли истинныхъ представителей христіанскаго ученія.

Совершенно также поступалъ и Достоевскій. Во всемъ его творчествѣ мы не отыщемъ ни одного лица, которому онъ отдавалъ бы свое сочувствіе за безстрашіе и упорство. Всякій разъ, какъ его кисть принималась за изображеніе такихъ лицъ, имъ приходилось искупать вину своего возмущенія противъ общества либо долгимъ добровольнымъ страданіемъ, либо добровольною смертью. Таковы: Рас-

кольниковъ, Ставрогинъ и Дмитрій Карамазовъ. И любимые его герои—тѣ, которымъ онъ отдаетъ всю свою душу все-таки не они, а страдальцы, безвинно и безропотно переносящіе незаслуженное зло, какъ Макаръ Дѣвшинъ въ „Бѣдныхъ людяхъ“, Нелли въ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“, князь Мышкинъ въ „Идіотѣ“, или натуры до того чистыя, что имъ даже искупать нечего, какъ Алеша Карамазовъ. Всего же замѣчательнѣе, что это преклоненіе Достоевскаго передъ идеаломъ свѣтлаго и безропотно-го страданія проявляется въ такомъ раннемъ его произведеніи, какъ „Бѣдные люди“, въ ту самую эпоху, когда онъ участвовалъ въ кружкѣ Петрашевскаго, то есть когда самъ готовъ былъ примкнуть къ движенію революціоннаго характера. Нельзя отрицать, въ самомъ дѣлѣ, что идеи, увлекавшія членовъ этого кружка, выросли не самородками на русской почвѣ, а были навѣяны Западомъ. И все-таки, даже въ этотъ моментъ своего развитія, Достоевскій не былъ настолько проникнутъ ими, чтобы духъ протеста отразился на первомъ его произведеніи. У него „последніе“ являются „первыми“ уже въ земной жизни. И вотъ, почему, даже становясь порицателемъ движенія шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ, онъ не пересталъ быть любимцемъ русской молодежи, хотя и приносилъ не гнѣвное слово протеста, а примиряющее слово всепрощенія.

---

**Достоевскій послѣ ссылки. — Характеристика его воззрѣній.—Религіозные взгляды.—„Бѣсы“. — Нравственные идеалы Достоевскаго къ своимъ героямъ.—Отличія Достоевскаго отъ Толстого.**

Когда на 29-омъ году жизни Достоевскаго постигла тяжкая и незаслуженная кара; онъ всѣмъ своимъ умственнымъ складомъ принадлежалъ къ движенію 40-хъ годовъ. Новаго своего онъ внесъ въ литературу своимъ первымъ романомъ—лишь мягкую ноту участливой жалости, до того мягкую и сердечную, что ни у одного изъ прочихъ русскихъ писателей она не звучала такъ, какъ въ его „Бѣдныхъ людяхъ“. И, благодаря этой глубоко-искренней жа-



лости, „Бѣдные люди“ могли показаться оригинальнымъ произведеніемъ, хотя положеніе и характеръ главнаго дѣйствующаго лица были заимствованы у Гоголя. Но, повторяю, новая струя, внесенная Достоевскимъ въ нашу беллетристику, прекрасно могла бы умѣститься въ общее русло либерализма 40-хъ годовъ, не случись въ его жизни рокового перелома, не пройди черезъ сибирскую каторгу. Каторга возвратила его не озлобленнымъ, а вѣрующимъ и примиреннымъ, глубоко вѣрующимъ, по крайней мѣрѣ, въ тотъ духовный складъ понятій, изъ-за котораго онъ такъ полюбилъ русскаго простолюдина, полюбилъ не отвлеchenною любовью агитатора, а живымъ сочувствіемъ собрата.

Настроеніе, какое Достоевскій привезъ изъ Сибири, было очень сложнаго свойства и никакою обыденною кличкой характеризовано быть не можетъ. Критика пробовала его пристегивать то къ славянофиламъ, то къ консерваторамъ, придумала даже особенное названіе почвенниковъ, къ которому относила Достоевскаго, наряду съ Ап. Григорьевымъ. Суть же таланта Достоевскаго все-таки ускользала отъ этихъ опредѣленій. Отъ консерваторовъ въ строгомъ смыслѣ его отдѣляетъ не перестававшая въ немъ биться демократическая жилка, отъ славянофиловъ—отсутствіе въ его творчествѣ историческихъ мотивовъ. Слово „почвенникъ“, какъ нѣчто болѣе индивидуальное, могло бы для него пригодиться, если бы само оно обладало какимъ-нибудь точнымъ смысломъ. Единственный крупный писатель, которому присвоивалась эта кличка наряду съ Достоевскимъ—Ап. Григорьевъ—совсѣмъ не походитъ на него ни по манерѣ, ни по духовному складу. Ухарскій демократизмъ Григорьева, его инстинктивная любовь къ стариннымъ обычаямъ мало имѣетъ общаго со скорбнымъ патріотизмомъ Достоевскаго, который въ русскомъ чловѣкѣ любилъ не его внѣшность, его душу, его способность прощать и каяться.

Достоевскій, если можно такъ выразиться, любилъ русскаго чловѣка, вопреки ему самому. Онъ не только не восторгался его жизнью,—онъ находилъ ее омерзительной. И такую онъ постоянно рисовалъ ее въ своихъ произведеніяхъ.

---

И тѣмъ не менѣ онъ преклонился передъ этимъ человѣкомъ, во всей его нравственной и физической грязи, любя въ немъ смиренную высоту духа, до которой грязь эта добрызнуть не могла. Всего лучше опредѣлилъ себя Достоевскій самъ на пушкинскомъ юбилейномъ торжествѣ.

---

### **Своеобразное превозглашеніе первенства русскаго народа.**

Опредѣлилъ онъ себя не самохвальнымъ выставленіемъ на показъ особенностей своего таланта, а задушевною исповѣдью своихъ вѣрованій и симпатій. Знаменитая рѣчь, сдѣлавшая его на закатѣ чуть не самымъ популярнымъ человѣкомъ Россіи, была провозглашеніемъ первенства русскаго народа, но своеобразнаго первенства смиренія. Русскій народъ, говорилъ Достоевскій, оттого стоитъ нравственно выше прочихъ, что онъ не замыкается въ самого себя, а во всякомъ чужестранцѣ готовъ видѣть брата; что одинъ онъ въ своей жизни осуществилъ христіанскій идеаль любви и всепрощенія. У себя дома русскій человѣкъ въ падшемъ, даже преступникѣ, видитъ не злодѣя, а несчастнаго. А внѣ своихъ предѣловъ, у него есть враги—лишь пока они посягаютъ на цѣлость его отечества и на его православную вѣру. Едва окончилась борьба, онъ готовъ простить понесенныя обиды, и въ недавнемъ врагѣ снова видитъ брата. Русскій человѣкъ въ томъ идеальномъ образѣ, какой набросалъ Достоевскій, какъ бы осуществляетъ уже на землѣ евангельское слово о Царствіи Небесномъ, гдѣ послѣдніе будутъ первыми.

---

### **Отличіе Ф. М. Достоевскаго отъ славянофиловъ.**

Въ рѣчи же Достоевскаго было и нѣчто иное. Прославляя свой народъ, онъ всего выше ставитъ его способность сближаться съ чужими національностями и воспринимать въ себѣ особенности ихъ культуры. Такимъ образомъ, если, за одно съ славянофилами, Достоевскій поэти-

зироваль душевную красоту русскаго челоуѣка, онъ расходился съ ними въ одной очень существенной чертѣ. Онъ не проповѣдываль культурной обособленности своего отечества, не призываль его къ военному преобладанію. Въ его патріотизмѣ звучить, стало быть, несомнѣнная космополитическая нота; и за то совершенно отсутствуетъ въ немъ вызывающій задоръ, всегда готовый въ правѣ сильнаго, въ господствѣ большинства видѣть законное основаніе къ подавленію всего чужого. Этимъ Достоевскій и подкупилъ разомъ въ свою пользу двѣ такія непримиримыя группы нашего общества, какъ славянофиловъ съ одной стороны и передовую мододежь съ другой. Конечно, для послѣднихъ каждое его слово было священо, какъ слово политическаго мученика, а первые его прославляли за то, что съ каторги онъ вернулся любящимъ не только свою родину, но и свою вѣру.

А между тѣмъ, еслибы тѣ и другіе поближе всмотрѣлись во внутреннюю борьбу, не перестававшую въ немъ кипѣть, они въ его духовномъ складѣ нашли-бы, вѣроятно, много такого, что сильно расходилось съ ихъ собственнымъ настроеніемъ.

---

### Религіозные взгляды Достоевскаго.

Достоевскій въ своихъ романахъ часто касался религіозныхъ вопросовъ. Въ одномъ изъ нихъ, въ послѣднемъ, эти вопросы даже проникаютъ собою все его содержаніе, они становятся предъ читателемъ, какъ первенствующая, какъ неотступная задача. И симпатіи автора, повидимому, лежатъ на сторонѣ положительнаго рѣшенія этихъ вопросовъ. Неизбѣжность искупленія, какъ примиряющей жертвы, признается Раскольниковымъ на самой послѣдней страницѣ „Преступленія и Наказанія“.

Въ „Бѣсахъ“ носитель авторскихъ симпатій, подобно самому автору обращенный въ отеческую вѣру,— Шатовъ обличаетъ своихъ бывшихъ собратій въ отступничествѣ отъ этой вѣры, — и падаетъ жертвою этихъ обличеній.

Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“—этой лебединой пѣснѣ Достоевскаго, — религиозная нота звучитъ еще сильнѣе. Православіе не только воплощено въ идеальной фигурѣ отца Зосимы и въ его кроткомъ ученикѣ Алешѣ,—примиряющая сила искупленія опять сказывается надъ грѣшной душой главнаго героя, Дмитрія Карамазова, когда его постигаетъ наказаніе за мнимую вину. Прошлое всегда напоминало о себѣ Достоевскому и отражалось на его произведеніяхъ. Онъ по опыту зналъ, что незаслуженное наказаніе приноситъ съ собою душевный миръ.

И, несмотря на все это, несмотря на заключительныя слова „Братьевъ Карамазовыхъ“, такая страстная тревога слышится во всемъ, что Достоевскій говоритъ объ отношеніяхъ человѣка къ Богу, что полнаго душевнаго мира въ немъ, очевидно, все-таки не было, и коренной вопросъ религіи оставался для него неразрѣшеннымъ. Слишкомъ ужъ живо отождествляется онъ съ душевнымъ складомъ Ивана Карамазова—этого мученика безвѣрія, если можно такъ выразиться, чтобы и въ немъ самомъ не продолжалась тяжелая борьба съ неотступными сомнѣніями. Своеобразность манеры Достоевскаго заключается въ томъ, что онъ никогда, подобно другимъ нашимъ великимъ писателямъ, не воплощаетъ себя въ одномъ изъ своихъ героевъ всецѣло. Каждому изъ нихъ онъ попеременно сообщаетъ искру собственнаго духа, по-очередно заставляя ихъ говорить его словами.

---

### Почему Достоевскій великій писатель?

Достоевскій по преимуществу художникъ мысли, а не характера и многосторонность его умственной жизни, постоянно работавшей надъ неразрѣшимыми проблемами, могла находить себѣ отраженіе въ самыхъ разнообразныхъ фигурахъ. Вотъ почему въ послѣднемъ и самомъ могучемъ изъ его произведеній всѣ три брата Карамазовы, при всемъ своемъ различіи, являются носителями его мысли. Каждому изъ нихъ онъ далъ какъ бы по частицѣ своей души. Онъ одинаково понимаетъ шальное безпутство

Дмитрія, холодно злую и, въ то же время, страстно болѣющую натуру Ивана, и кроткій энтузіазмъ Алеши. Все это онъ переиспыталъ самъ. Натура его, какъ музыкальнѣйшій инструментъ, готова отозваться на каждое чувство; струнъ у него хватило бы на цѣлую симфонію. Оттого-то онъ и такой великій писатель, несмотря на всѣ свои огромныя недостатки.

---

### Легенда о „Великомъ инквизиторѣ“.

Въ знаменитой галлюцинаціи Ивана Карамазова, когда упреки совѣсти поколебали въ его душѣ мнимо-спокойное безвѣріе, Достоевскій до того чутко отозвался на психическое настроеніе своего героя, что позволилъ задаться мыслью, не испыталъ-ли чего нибудь подобнаго онъ самъ. Легенда о „Великомъ инквизиторѣ“, въ которой аналитическій талантъ Достоевскаго достигъ своей высшей точки, оставляетъ въ читателѣ смутное недоумѣніе, кого, въ концѣ концовъ, онъ считалъ болѣе правымъ — невѣрующаго представителя земныхъ интересовъ церкви, или основателя этой самой церкви—Христа. Сомнѣніе такъ коварно, такъ жутко прокрадывается въ душу, что страшный ознобъ проходитъ по тѣлу въ ту самую минуту, когда Христосъ своимъ прощающимъ, грустнымъ поцѣлуемъ смягчилъ даже непреклонную душу инквизитора. И какъ ни тепла любовь, вызываемая фигурой Спасителя, нельзя оторваться отъ мысли, что въ глазахъ Достоевскаго Онъ все-таки былъ неправъ въ своемъ неземномъ милосердіи, что, стало быть, дѣло искупленія не удалось. Пока длится рассказъ, обѣ чаши вѣсовъ остаются въ такомъ безусловномъ равновѣсіи, что не получаешь утѣшительнаго впечатлѣнія полной побѣды христіанскаго милосердія. И, несмотря на этотъ неразрѣшенный диссонансъ, гениальность рассказа,— какъ разъ благодаря ему, быть можетъ,—тѣмъ оцутительнѣе, болѣзненный вопросъ, остающійся безъ отвѣта, волнуешь душу сильнѣе, чѣмъ могло бы это сдѣлать несомнѣнное торжество правды. Еще же болѣе основаній недоумѣвать даютъ намъ „Бѣсы“.

---

## Романъ „Бѣсы“ и взглядъ Достоевскаго на православіе.

Въ этомъ романѣ есть замѣчательное мѣсто, характерное для міровоззрѣнія его автора и почему-то до сихъ поръ совершенно оставленное безъ вниманія критикой. Я имѣю въ виду длинный разговоръ между Ставрогинимъ и Шатовымъ, въ которомъ оба они, какъ бы повинувшись невольному взаимному притяженію, раскрываютъ другъ передъ другомъ самые тайные свои помыслы. Замѣчательна эта сцена не потому только, что самовластный, гордый Ставрогинъ приходитъ объясняться съ тѣмъ самымъ человѣкомъ, который наканунѣ ему нанесъ тяжкое оскорбленіе, — эта кажущаяся несообразность читателя ничуть не удивляетъ, но потому еще, что самъ Достоевскій поддается невольной потребности высказаться. Устами Шатова, несомнѣнно, говоритъ онъ.

Просимъ читателя припомнить эту мастерскую сцену. Когда Ставрогинъ догадывается самъ, что Шатовъ его оскорбилъ не изъ-за такого обыденнаго чувства, какъ месть, а изъ-за горькаго разочарованія въ своемъ прежнемъ учителѣ; когда оба они возвращаются къ своей встрѣчѣ за границей, гдѣ Ставрогинъ краснорѣчиво разжигалъ въ собесѣдникѣ преданность родинѣ и ея вѣрованія, Шатовъ съ негодованіемъ упрекаетъ его въ отступничествѣ, въ томъ, что его горячія слова были напускными и онъ никогда не переставалъ быть скептикомъ, играющимъ съ убѣжденіями ради умственного спорта. И повторяя слышанное имъ прежде отъ Ставрогина, Шатовъ мало-по-малу высказываетъ самую затаенную свои мысли.

„Великимъ историческимъ народомъ,—говоритъ онъ,—можетъ быть лишь тотъ, кто имѣетъ своего національнаго Бога. И въ самомъ дѣлѣ, у cadaго народа такой Богъ непремѣнно есть, и каждый изъ нихъ, провозглашая своего, отрицаетъ тѣмъ самымъ всѣхъ остальныхъ“. Шатовъ, правда, затѣмъ признаетъ, что истина одна, и русскій народъ тѣмъ и великъ, что его Богъ настоящій. Бѣда же въ томъ, что въ этого Бога онъ вѣритъ все-таки только

изъ патріотизма. Когда Ставрогинъ его настойчиво допрашиваетъ, вѣруетъ-ли онъ самъ, Шатовъ отвѣчаетъ: \*) „Я вѣрую въ Россію, я вѣрую въ ея православіе... я вѣрую въ тѣло Христово... я вѣрую, что новое пришествіе совершится въ Россіи... я вѣрую...“

— А въ Бога? Въ Бога?

— Я... я буду вѣровать въ Бога...

Итакъ, вотъ каково было настоящее міросозерцаніе Достоевскаго. Православіе ему дорого было не само по себѣ, а лишь какъ русская, историческая, національная вѣра.

---

### **Достоевскій не борець за направленіе времени 70-хъ годовъ и по воззрѣніямъ приближается къ 60-ымъ годамъ.**

Еще осязательнѣе обманывались насчетъ Достоевскаго тѣ, кто ожидалъ увидѣть его борцомъ за направленіе времени 70-хъ годовъ.

Цѣлую сторону этого направленія,—его матеріалистическую доктрину—Достоевскій не только отвергалъ, онъ глубоко ненавидѣлъ ее и надъ нею ѣдко глумился. И, быть можетъ, эта ненависть была тѣмъ сильнѣе, что самъ онъ съ трудомъ оборонялся отъ налетавшихъ сомнѣній. На каторгѣ онъ нашелъ душевный миръ, благодаря единенію съ церковными идеалами народа. И этимъ утѣшеніемъ онъ дорожилъ тѣмъ болѣе, что зналъ по опыту, какъ оно было въ немъ шатко. Самъ раздираемый внутреннею борьбой, старавшійся окунуться въ простодушную вѣру народа, онъ искренно возмущался легковѣснымъ самодовольствомъ, съ которымъ радикалы-шестидесятники разрѣшали самые трудные вопросы жизни и духа. Вотъ почему ни у одного изъ нашихъ великихъ писателей школы сороковыхъ годовъ не отыщешь такого беспощаднаго отрицанія идеаловъ шестидесятыхъ, какъ у Достоевскаго.

---

\*) Достоевскій. Сочиненія, томъ 7-й.

Въ „Преступленіи и наказаніи“ онъ заставляеть крѣпкаго умомъ, хоть и слабаго волей и много думавшаго Раскольникова преклониться, со всѣмъ своимъ знаніемъ, передъ умственно неразвитой и, вдобавокъ, потерянной дѣвушкой. И не свою преступность только онъ повергаетъ къ ногамъ этого простого, наивно развратнаго существа. Всѣ свои високоумные помыслы онъ признаеть ничтожными передъ ея безхитростной любовью къ родной семьѣ.

Въ „Идіотъ“ носителемъ авторскихъ симпатій является человѣкъ не только умственно слабый, но психически больной и къ практической жизни совершенно не пригодный. И когда этотъ человѣкъ встрѣчается съ заносчивыми притязаніями передовой молодежи, онъ побѣждаетъ эту молодежь своею незамысловатою кротостью. „Скрыль отъ мудрыхъ и ученыхъ — будто говоритъ Достоевскій евангельскими словами—и открыль дѣтямъ“.

Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ представитель безшабашнаго радикализма — Ракитинъ — и гадокъ и смѣшенъ, хотя въ умѣ, и въ особенности, въ развязности ему отказать нельзя. Самые же жестокіе удары были нанесены шестидесятникамъ въ „Бѣсахъ“, гдѣ вопросъ о „новыхъ людяхъ“ разработанъ уже не мимоходомъ, не въ качествѣ аксессуара, а прямо составляетъ главную тему романа. Здѣсь, правда, въ лицѣ Петра Верховенскаго, Ставрогина и Шатова выведено три очень крупныхъ представителя движенія, — крупныхъ и по уму и по характеру. Поэтому-то какъ разъ Достоевскаго нельзя обвинить въ написаніи памфлета на шестидесятниковъ, подобно Тургеневу въ „Дымъ“ и Гончарову въ „Обрывъ“.

Если картина его не вполнѣ правдива, то грѣшитъ она скорѣе изобиліемъ трагическаго элемента, чѣмъ карикатурностью дѣйствующихъ лицъ. Но за то, наряду съ выдающимися фигурами героев — какъ мастерски изобразилъ Достоевскій тщету и нелѣпость ихъ начинаній!

Какимъ беспощаднымъ комизмомъ брызжетъ его рассказъ, хотя бы въ сценѣ собранія революціоннаго общества и въ слѣдующемъ за нею описаніи концерта, гдѣ разыгрывается безобразно-смѣшная манифестація.



Какимъ негодующимъ ужасомъ исполняется читателя во время сцены убійства Шатова, приговореннаго къ смерти своими товарищами; и еще большій ужасъ охватываетъ его, когда затѣмъ Петръ Верховенскій совершаетъ надъ полусумасшедшимъ Кирилинымъ нравственное насиліе, заставляя его лишиться себя жизни.

А между тѣмъ, не смотря на эти рѣзкія обличенія Достоевскій стоялъ, быть можетъ, духовно ближе къ движенію шестидесятыхъ годовъ, чѣмъ всѣ прочіе наши писатели, даже либеральнаго лагеря, какъ Тургеневъ и Григоровичъ.

Помимо всего напускнаго и задорнаго, въ этомъ движеніи была одна несомнѣнно искренняя черта—стремленіе отыскать новую жизненную правду, свободную отъ условностей и традицій. Нужды нѣтъ, что сплошь и рядомъ оно принимало комическія и даже нелѣпыя формы. Суть его оставалась честною и гуманною. И какъ разъ въ этой сути, въ этой честной гуманности заключается точка соприкосновенія между Достоевскимъ и шестидесятниками. Онъ тоже хотѣлъ обновить свихнувшуюся общественную нравственность, вернуться къ ея первоисточнику, засоренному предразсудками и рутиной. Добро и зло — такъ думалъ всегда Достоевскій — отличаются между собою не формальными признаками, а внутренними мотивами. Общество требуетъ отъ своихъ членовъ соблюденія внѣшнихъ условныхъ приличій, оставаясь совершенно равнодушнымъ къ внутреннимъ побужденіямъ. Но правда—истинная и вѣчная правда, провозглашенная Христомъ—не такова. Передъ нею не только наружная порядочность и соблюденіе приличій не значить ничего, — передъ ея судомъ человѣкъ, прямо нарушившій законъ, несомнѣнный преступникъ, во сто разъ лучше того, кто строго этотъ законъ соблюдаетъ, если въ первомъ не угасла животворящая любовь, а у второго ея нѣтъ.

Вотъ почему, въ глазахъ Достоевскаго, падшая, даже развратная, женщина можетъ быть нравственно выше той, которая осталась строго вѣрна формальному долгу. Убійца лучше такъ называемаго порядочнаго человѣка. Припомнимъ всѣ фигуры, выведенныя Достоевскимъ, въ томъ числѣ и обитателей „Мертваго дома“, и постараемся объяс-

нить себѣ, почему одни пользуются его симпатіями, а другіе нѣтъ.

Какая черта отдѣляетъ передъ его судомъ правыхъ и неправыхъ, овецъ и козлищъ? Степень виновности тутъ, очевидно, ни при чемъ. Каторжники „Мертваго дома“ Раскольниковъ, Мармеладовъ и его дочь Соня, Дмитрій Карамазовъ, Грушенька—исчерпываютъ собою едва-ли не всѣ виды порока и вины. А между тѣмъ любовь ихъ творца, Достоевскаго, а съ нею и симпатіи читателя, остаются за ними.

О нравственно чистыхъ фигурахъ въ его произведеніяхъ—о Дунѣ Раскольниковой, о Шатовѣ, князѣ Мышкинѣ, отцѣ Зосимѣ и Алешѣ Карамазовѣ—я уже не говорю. Даже отвратительный Свидригайловъ, этотъ сластолюбецъ до безумія, вдобавокъ сильно заподозрѣнный въ убійствѣ жены,—и тотъ не совсѣмъ утрачиваетъ право на жалость, потому что и въ немъ еще тлѣетъ искра челоуѣчности. За то немало найдется въ романахъ Достоевскаго и такихъ характеровъ, которые не запятнали себя, повидимому, ничѣмъ, или, по крайней мѣрѣ, во многомъ уступаютъ по виновности только что перечисленнымъ мною, и надъ которыми все-таки будто произносится грозное слово отверженія.

Вспомнимъ, хотя бы Варвару Петровну Ставрогину изъ „Бѣсовъ“, генеральшу Епанчину и дочь ея Аглаю изъ „Идіота“, Ивана и Катю „Братьевъ Карамазовыхъ“—о настоящихъ негодяяхъ, о Петрѣ Верховенскомъ и Карамазовѣ-отцѣ я и не упоминаю.

Къ чему сводятся черты, обусловливаюція несомнѣнную антипатичность этихъ фигуръ? Ихъ можно, кажется, свести къ двумъ главнымъ. Сухая гордость съ одной стороны, ложь съ другой—вотъ что ненавистно Достоевскому, вотъ чего онъ не прощаетъ. И если къ этимъ двумъ чертамъ присоединяется третья—тупое самомнѣніе — фигура изъ ненавистной становится комической. Достаточно указать на Лебезятникова въ „Преступленіи и наказаніи“, на второстепенныхъ агитаторовъ изъ „Бѣсовъ“, на г-жу Хохлакову и на Ракитина изъ „Братьевъ Карамазовыхъ“. Впрочемъ, нельзя по настоящему сказать, что имъ не прощаетъ Достоевскій. На самомъ дѣлѣ, его милосердіе не

знаеть границъ. И если бы сухія, гордыя и самодовольныя натуры могли покаяться и полюбить, онъ готовъ бы открыть имъ объятія,—онъ почти сдѣлалъ это даже съ отцеубійцей Смердяковымъ. Но въ томъ-то и бѣда, что такимъ натурамъ смягчиться невозможно; и Достоевскій это сознаеть, — сознаеть, быть можетъ, съ болью на сердцѣ.

Словомъ, въ нѣсколько искаженномъ видѣ, въ его романахъ мы встрѣчаемъ евангельскую мораль. Я говорю: въ нѣсколько искаженномъ видѣ, потому что Достоевскій, кажется, все свое вниманіе остановилъ на тѣхъ евангельскихъ главахъ, гдѣ говорится о покаявшемся разбойникѣ, о блудномъ сынѣ и о прелюбодѣйной женѣ.

Нравственная чистота, которой тоже вѣдь требовалъ Христосъ, его какъ будто не особенно тревожить.

---

### **Достоевскій выполнилъ задачу, намѣченную шестидесятниками и воплотилъ нравственный идеаль.**

Но тѣмъ самымъ онъ и приближался къ идеалу шестидесятихъ годовъ. Стремленіе отыскать крупницу чистаго золота въ падшемъ человѣкѣ, жемчужину въ кучѣ навоза, всегда отличало собою шестидесятниковъ. И несмотря на всю ихъ матеріалистическую трезвость, въ этомъ стремленіи тоже нельзя не видѣть искаженного отголоска евангельской проповѣди. Бѣда лишь въ томъ, что зачастую самый фактъ паденія казался шестидесятникамъ залогомъ и признакомъ нравственной высоты, что куча навоза порой имъ становилась дороже искомой жемчужины. И благодаря этой склонности любоваться грязью, имъ не удалось въ своихъ произведеніяхъ нарисовать ни одной правдивой картины духовнаго возрожденія, создать глубоко потрясающую внутреннюю драму, въ которой борьба виновнаго человѣка съ самимъ собою отражалась бы правдиво и просто. Задача, выполненія которой они добивались, оказалась имъ не подъ силу — за нее долженъ былъ взяться человѣкъ, прошедшій самъ черезъ тяжелый кризисъ возрожденія, сблизившійся съ народомъ не путемъ

книжной любви, а школой страданія,—человѣкъ, у котораго милосердіе къ падшимъ было не результатомъ задорнаго протеста, а болѣзненной любви. Вотъ почему Достоевскій и былъ такъ дорогъ русской молодежи и она такъ охотно прощала ему все его ѣдкое глумленіе. Въ его романахъ она видѣла настоящее воплощеніе того нравственнаго идеала, съ которымъ бессильно и тщетно носились беллетристы ея собственнаго лагеря. На примѣрѣ Достоевскаго было доказано лишній разъ, что настоящая любовь безъ вѣры невозможна.

---

### Отличіе Достоевскаго отъ Толстого.

Говоря выше о Львѣ Толстомъ, я имѣлъ случай замѣтить, что причина его огромной популярности лежитъ во всесторонности его таланта, въ томъ замѣчательномъ свойствѣ этого таланта, что каждый, съ какой бы стороны онъ къ нему ни подходилъ, видитъ въ немъ какъ бы отраженіе собственныхъ мыслей. Нѣчто подобное мнѣ придется сказать и о Достоевскомъ. Разница между ними въ томъ лишь, что многосторонность Толстого какъ бы внѣшняя, что она безъ труда и борьбы вытекаетъ изъ его поразительной способности воспринимать всѣ жизненныя явленія.

У Достоевскаго не то. Онъ не отражаетъ только внѣшній миръ, со всѣми его непримиримыми противорѣчіями, какъ дѣлаетъ это Толстой,—онъ принимаетъ въ себя, въ свою болѣющую душу всѣ пересѣкающіеся разноцвѣтные жизненные лучи и собираетъ ихъ въ себѣ, какъ въ фокусъ. Въ немъ тоже, какъ и въ Толстомъ, нашли себѣ выраженіе всѣ разнообразныя струи русской мысли шестидесятихъ годовъ, отъ религіознаго мистицизма народнаго сектанта до горячаго увлеченія демократическими идеалами. На эти разнообразныя теченія его душа отзывалась не какъ равнодушное зеркало, а какъ горнило, мучительно переработывавшее ихъ въ себѣ. Можетъ быть, его готовность къ всепрощенію, его недостаточная брезгливость къ пороку объяснялась тѣмъ, что порочныя стра-

сти шевелились въ немъ самомъ. Но какъ разъ благодаря этому, онъ понималъ чужой грѣхъ не однимъ художественнымъ чутьемъ, а искреннимъ сочувствіемъ человѣка, хорошо знавшаго заманчивую силу зла. И если даже онъ предпочиталъ совершенно безукоризненнымъ натурамъ существа падшія, — онъ проявилъ въ этомъ свое духовное единеніе съ инстинктивнымъ милосердіемъ русскаго народа. За то онъ такъ и любилъ этотъ народъ, видя въ немъ самаго вѣрнаго послѣдователя Христа.

И если это былъ не совсѣмъ евангельскій Христосъ, если Достоевскій слегка передѣлывалъ его на русскій ладъ, онъ не переставалъ быть искреннимъ, несмотря на бурное сомнѣніе, никогда, вѣроятно, не перестававшее его терзать.

Изъ всѣхъ великихъ русскихъ писателей Достоевскій, быть можетъ, наиболѣе сложный, наименѣе поддающийся опредѣленію. Борьба въ немъ никогда не прекращалась, противоположныя теченія не приходили къ равновѣсію. Какъ разъ, поэтому, онъ и обладалъ такой способностью тревожить сердца, поднимая со дна ихъ накопившіяся тамъ порочный иль, но за то и зажигая въ нихъ искру свѣтлой человѣчности.

Источника обновленія русскаго общества Достоевскій искалъ въ немъ самомъ—и это его сближало съ славянофилами. Искалъ же онъ его не въ завѣтахъ старины, не во внѣшнихъ формахъ быта, какъ дѣлали это они, а въ народной душѣ, живой и свѣтлой даже подъ оболочкой невѣжества и грязи. И это поклоненіе духу народа, искру котораго Достоевскій любилъ находить даже въ самыхъ уродливыхъ проявленіяхъ жизни, въ тѣхъ даже русскихъ людяхъ, которые отъ своего родного отрещивались,—дѣлали его такимъ удобопонятнымъ, такимъ симпатичнымъ для самыхъ разнородныхъ слоевъ нашего общества. Если въ преступникѣ онъ отыскивалъ не угасшій еще послѣдній лучъ душевной чистоты, — въ умственно заблудшемъ онъ не отчаявался найти неугасшій лучъ правды. И эта черта сближала его съ шестидесятниками.

---

## Что было предметомъ наблюденія Достоевскаго въ произведеніяхъ своихъ?

Міросозерцаніе Достоевскаго опредѣлило его писательскую манеру. Онъ былъ художникомъ только внутренней, психологической правды. (Предметомъ его наблюденій была исключительно душа человѣка, — душа, въ особенности, больная. Тщетно мы стали бы отыскивать у него бытовыхъ картинъ или картинъ природы.)

Природа не занимала его, благодаря своему невозмутимому равнодушію. Въ бытѣ занимало его одно лишь — выраженіе индивидуальнаго характера, а не массовыхъ безсознательныхъ наклонностей. Вотъ почему у него такъ мало описаній не только внѣшней обстановки, но и образовъ дѣйствующихъ лицъ. Тѣло было для него лишь оболочкой души. И конкретныя изображенія его героевъ слагаются передъ читателемъ лишь по мѣрѣ того, какъ выясняется ихъ характеръ. Скажу болѣе: безразличное отношеніе къ внѣшнему міру доходитъ у Достоевскаго зачастую до непониманія условій общественной жизни.

Въ его романахъ немало совершенно невѣрныхъ положеній, невѣрныхъ, конечно, въ бытовомъ смыслѣ. Укажу хотя бы на ту сцену въ „Идіотѣ“, гдѣ на дачу едва выздоровѣвшаго князя Мышкина вваливается цѣлая ватага незнакомыхъ ему людей, и, въ присутствіи его невѣсты и ея матери — чопорной генеральши Епанчиной, эти люди нагло предъявляютъ совершенно нелѣпыя требованія и говорятъ хозяину дома непозволительныя дерзости. Въ бытовомъ отношеніи эта сцена совершенно невозможна. Изъ любого дома такихъ посѣтителей выпроводили бы вонъ. Достоевскому же нѣтъ до этого дѣла. Ему надо ярко изобразить именно наглость этого сорта людей и, въ видѣ контраста съ нею, безграничное незлобіе Мышкина. И онъ достигаетъ этой внутренней правды, подъ условіемъ полного нарушенія правды внѣшней. Вотъ почему, если Достоевскій и былъ реалистомъ — а такимъ его принято называть, — то реалистъ онъ былъ только въ психологическомъ смыслѣ. Онъ не скупился на описаніе нравствен-

наго уродства. Его романы кишатъ безобразными сценами, въ которыхъ, однако, чувствуется, какъ въ иныхъ картинахъ испанскихъ мастеровъ, особая красота типическаго идеальнаго безобразія. Сцену ареста Дмитрія Карамазова въ Мокромъ послѣ безшабашной оргіи, среди которой пробушевалъ онъ цѣлую ночь, можно приравнять къ самымъ трагическимъ—по силѣ ужаса—произведеніямъ кисти,—да, именно кисти, потому что своею рельефностью Достоевскій здѣсь почти дошелъ до области пластическаго искусства.

И вотъ, какимъ образомъ, не будучи мастеромъ въ литературной живописи, одною мощью психологическаго анализа, Достоевскій сумѣлъ придать своему изображенію самую полную конкретность.

Той банальной, вседневной правдѣ, съ которой носились шестидесятники, Достоевскій измѣнялъ, впрочемъ, не въ одномъ этомъ. Онъ поднимался надъ нею всею мощью своей трагической, вѣчно борющейся души. Изъ жизненныхъ конфликтовъ онъ выбиралъ только самые потрясающіе. Обыденная, спокойная, плоская жизнь для него будто не существовала. Припомните содержаніе всѣхъ его романовъ, отъ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“ до „Братьевъ Карамазовыхъ“ включительно. Это все сплошные надрывы, картины самыхъ ужасныхъ столкновеній, которыхъ въ жизни настоящіе люди долго не могли бы вынести, которыя съ трудомъ выносить и читатель,—до того напрягаются его нервы. Въ постановкѣ всѣхъ своихъ сюжетовъ и многихъ изъ своихъ характеровъ Достоевскій является, такимъ образомъ, преемникомъ романтизма, въ особенности тѣхъ его представителей, которые любили рисовать ужасное. Странное дѣло—несмотря на поклоненіе русскому духу, въ одномъ отношеніи Достоевскій не былъ русскимъ вовсе: въ немъ совсѣмъ отсутствовала склонность къ мірской, къ массовой жизни. Онъ индивидуалистъ до мозга костей, иначе онъ не могъ бы сочувственно воспроизвести такіе чисто индивидуальныя характеры, какъ Раскольниковъ, какъ Ставрогинъ, какъ Дмитрій Карамазовъ. Понять его противорѣчіе, конечно, трудно, но оно бьетъ, несомнѣнно, въ глаза. Въ томъ-то и дѣло, что таланты, великіе умомъ и захватывающіе особенно глубоко, всег-

да — ничто иное, какъ продуктъ непримиримыхъ противорѣчій.

Въ одномъ еще отношеніи Достоевскій рѣзко отличается отъ большинства крупныхъ русскихъ писателей. Всѣ они по преимуществу были пѣвцами женской красоты, физической и духовной. Одни, какъ Тургеневъ, всѣ энергическія черты, которыми располагала ихъ кисть, отдавали своимъ женскимъ фигурамъ. Другіе, какъ Толстой, надѣляли, правда, своихъ героинь менѣе выдающимися умственными и душевными качествами, но за то ихъ вполне реальные образы одухотворялись такой неподражаемой граціей, что поэтичность въ нихъ совмѣщалась съ реальностью. У Достоевскаго нѣтъ ни того, ни другого. Его сильныя натуры грубоваты, болѣе мягкія и женственныя, напротивъ, расплывчаты и какъ-то нетверды въ своихъ контурахъ. Все это, конечно, не мѣшало ему въ своихъ женщинахъ достигать глубокаго психологическаго анализа. Но цѣльность образа у однѣхъ его героинь, эстетичность у другихъ, все-таки не достигали совершенства рисовки Тургенева и Толстого. Въ одномъ только онъ былъ настоящимъ мастеромъ — въ воспроизведеніи полудѣтскихъ фигуръ. Нѣкоторыя изъ его дѣвочекъ-подростковъ, какъ Нелли въ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“ и Лиза Хохлакова въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, написаны увлекательно. Ранняя заря пробуждающагося не дѣтскаго чувства изображена имъ рукой знатока, который не боится въ полудѣтской душѣ раскрыть первые ростки будущей страсти—раскрыть порою такъ, что его кисть почти граничитъ со порнографіей. Чувство же мѣры ему не измѣняетъ, и останавливается онъ всегда на порогѣ уже нехудожественнаго рисунка, возбуждая лишь въ читателѣ легкую зыбь тревожнаго ощущенія.

*Попробуемъ теперь бѣгло просмотрѣть главныя произведенія Достоевскаго.*

Ни одно изъ этихъ произведеній не окрашено такъ сильно романтизмомъ, какъ „Записки изъ Мертваго дома“. Близорукая критика передоваго лагеря въ этихъ потрясающихъ картинахъ сибирской каторги хотѣла видѣть лишь выраженіе либеральнаго протеста и всепрощающаго милосердія къ виновнымъ. О какомъ-нибудь либеральномъ про-



тестъ тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о разбойникахъ и убійцахъ, смѣшно и говорить. И опровергать это комическое представленіе о Мертвомъ домѣ не стоитъ. Помимо же всепрощенія, звучитъ здѣсь у Достоевскаго и совершенно иная нота. Суровыя и сильныя фигуры его преступниковъ внушаютъ не одну жалость—примѣшивается къ ней и удивленіе. Достоевскій словно любитъ разнузданной силой своихъ безшабашныхъ героевъ. Никакой раздвоенности, никакой слабонервной рефлексіи нѣтъ въ нихъ и слѣда. Это всѣ мощныя и цѣльныя натуры, ни передъ чѣмъ не останавливающіяся, а между тѣмъ — и въ этомъ великое мастерство Достоевскаго—наряду съ энергіей, не изсякла у нихъ и человѣчность. Герои каторги не просто злодѣи—простыми у Достоевскаго никогда не бываютъ даже цѣльныя натуры—и не внушаютъ они омерзенія какъ разъ потому, что ихъ ожесточенное сердце способно порой смягчиться. Эта загорающаяся въ нихъ иногда теплая искра дѣлаетъ почти симпатичной ихъ грозную суровость. Какъ бы то ни было, въ чувствѣ трепета, какое охватываетъ читателя передъ дикою мощью обитателей Мертваго дома, въ невольномъ восхищеніи, съ какимъ рисуетъ Достоевскій ихъ отвагу, есть что-то очень сродное поклоненію безшабашной удали, какимъ отличался романтизмъ 20-хъ годовъ. Но, пожалуй, можетъ показаться, что романтизму нѣтъ мѣста среди черезчуръ даже реальныхъ картинъ Мертваго дома. Такъ думаютъ, конечно, тѣ, въ глазахъ которыхъ романтизмъ тождественъ съ прикрашеною слащавостью. Но если не останавливаться на внѣшнихъ приѣмахъ творчества, на авторской technikѣ, если проникнуть далѣе въ самую глубь міросозерцанія, романтизмъ предстанетъ передъ нами въ иномъ, несравненно болѣе широкомъ значеніи. Онъ былъ ничѣмъ инымъ, какъ преобладаніемъ личнаго элемента въ искусствѣ. И всякій разъ, что художникъ создаетъ крупный, индивидуальный образъ, и поклоняется въ немъ проявленію личной энергіи, мы вправѣ его признать за романтика. Такимъ и былъ Достоевскій въ Мертвомъ домѣ. И если его каторжники тѣмъ не менѣе реальны, то происходитъ это оттого лишь, что сибирская тайга въ высшей степени благоприятная рамка для полнаго развитія безудержной индивидуальной силы.

Еслибы Достоевскій подбавилъ къ своимъ описаніямъ героевъ тайги присочиненные имъ либеральные мотивы, какъ дѣлалъ это впослѣдствіи его подражатель Короленко, онъ бы въ самомъ дѣлѣ пересталъ быть реалистомъ. Въ „Запискахъ изъ Мертваго дома“ надо искать широкой гуманной идеи не въ искусственномъ пристегиваніи къ факту преступленія какого-то либеральнаго протеста, а въ томъ глубококомъ чувствѣ милосердія, которое даже въ преступникѣ силится отыскать, и дѣйствительно находитъ проблески челоуѣчности.

Въ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“ Достоевскій вернулся къ темѣ своихъ „Бѣдныхъ людей“. Но разница между концепціей обоихъ романовъ тѣмъ не менѣе большая. Макарь Дѣвушкинъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, кроткою и безответною жертвою настоящаго гнета. Герои „Униженныхъ и оскорбленныхъ“ — Ваня и Наташа — жертвы по доброй волѣ. Униженія, которымъ они подвергаются, на половину, по крайней мѣрѣ, вызваны ихъ собственной охотой склонять голову передъ воображаемымъ ярмомъ. Они принадлежатъ къ тому великому сонму романическихъ агнцевъ, которые агнцами являются не по кротости только, но и по неразумію. Страдаютъ они, въ самомъ дѣлѣ, очень больно. Ваня, отъ котораго ведется разсказъ, любитъ Наташу Ихменеву и не только узнаетъ, что она отдалась молодому князю Алексѣю Валковскому, но вдобавокъ счастьемъ влюбленныхъ мѣшаетъ жестокосердіе Алешинаго отца. Наташа то и дѣло терзается и проливаетъ слезы, попеременно ощущая жалость къ бѣдному, нелюбимому ею, Ванѣ, и великодушное забвеніе обидъ, нанесенныхъ ей Валковскимъ. Чувствительность ихъ обоихъ, увы, напоминаетъ Карамзинскую „Бѣдную Лизу“. И ни сами они, ни читатель никакъ не разберутся въ сложныхъ ощущеніяхъ, наполняющихъ ихъ скорбныя души. Не получается впечатлѣнія искренняго, въ самомъ дѣлѣ, горькаго горя въ ихъ длинныхъ и плаксивыхъ сѣтованіяхъ. Наташа, въ сущности, ничуть не возмущена противъ обольстившаго ее молодого князя, и это, пожалуй, еще понятно, такъ какъ она не перестала его любить, хотя въ концѣ концовъ выходитъ она за Ваню. Но не болѣе возмущенъ поступкомъ Алеши и самъ Ваня. Онъ то и дѣло самымъ дружескимъ

образомъ увѣщевааетъ молодого князя жениться на Наташѣ, которую любить самъ, а Алеша слезливо отвѣчаетъ, что сдѣлалъ бы это съ величайшимъ удовольствіемъ, но боится отцовскаго гнѣва. Алеша Валковскій не только не черствый сластолюбецъ, а совсѣмъ напротивъ. Въ своей безхарактерности онъ мечется отъ Наташи къ отцу и отъ послѣдняго къ Ванѣ, стараясь какъ-нибудь выпутаться изъ своего нелѣпаго положенія и всѣмъ угодить.

Но и самъ виновникъ этой семейной передраги — старый князь Валковскій оказывается весьма карточнымъ угнетателемъ, и въ одинъ прекрасный день, встрѣтившись съ Ваней въ ресторанѣ, какъ болтливый юноша, повѣряетъ ему всѣ свои адскіе помыслы. Въ концѣ концовъ выходитъ, такимъ образомъ, чувствительная драма во вкусѣ XVIII-го вѣка, гдѣ всѣ безъ вины виноваты, гдѣ угнетатели склонны къ чувствительнымъ изліяніямъ не менѣе угнетенныхъ.

Къ чему, въ самомъ дѣлѣ, сводится фабула романа и картина униженія правыхъ и невинныхъ? Къ тому, что полупомѣшанный самодуръ князь Валковскій грубо выгналъ ничѣмъ не провинившагося управляющаго Ихменева и противится женитьбѣ сына на дочери этого управляющаго. Домашній деспотъ выходитъ, конечно, очень гнуснымъ. Исторія же съ семьей Ихменевыхъ все-таки не болѣе, какъ частный случай, едва-ли достаточный для широкихъ рамокъ большого романа, въ которомъ авторъ собирается представить картину безпомощнаго униженія слабыхъ и страждущихъ. Ничего типичнаго, обобщающаго въ этой исторіи нѣтъ.

Не типиченъ и представитель угнетателей — старый князь. Его демоническая злоба черезчуръ болѣзненнаго свойства, чтобы на кого-либо наводитъ ужасъ, — развѣ на такого глупенькаго труса, какъ его сынокъ. Въ концѣ концовъ, благородство жертвъ граничитъ съ наивностью, а жестокосердіе угнетателя — съ помѣшательствомъ. Единственная фигура, нарисованная вполне жизненно, — тринадцатилѣтняя Нелли, спасенная Ваней изъ притона разврата и влюбившаяся въ него безсознательно.

Нельзя, такимъ образомъ, не признать „Униженныхъ и оскорбленныхъ“ однимъ изъ наименѣе удачныхъ романовъ Достоевскаго. Его главный недостатокъ — шаткость и неопредѣленность психическихъ мотивовъ. Великое значеніе Достоевскаго основано на тонкости его психологическаго анализа — тонкости, доходящей до того, что онъ видитъ въ душѣ человѣка такіе потаенные мотивы, которые обыкновеннымъ людямъ недоступны. Это свойство его таланта можно сравнить съ особенною способностью уха различать мельчайшія дѣленія музыкальных тоновъ.

Человѣку, обладающему этой способностью, міръ звуковъ представляется совершенно инымъ, чѣмъ обыкновеннымъ людямъ. Таковъ и Достоевскій, какъ наблюдатель психическихъ движеній. И какъ разъ благодаря тонкости его анализа, большинство подмѣченныхъ имъ душевныхъ явленій кажутся заурядному читателю ненормальными, а герои его — психически больными. За удачное воспроизведеніе душевныхъ болѣзней многіе критики, а въ томъ числѣ извѣстный психіатръ докторъ Чижъ, особенно превозносили Достоевскаго, хотя едва-ли велика заслуга для художника — исключительно вращаться въ области болѣзненныхъ явленій. Есть, конечно, въ романахъ Достоевскаго нѣсколько фигуръ, носящихъ явныя признаки умственнаго расстройства. Таковы: Голядкинъ въ „Двойникѣ“, Кирилинъ въ „Бѣсахъ“, князь Мышкинъ въ „Идіотѣ“. Обобщать же эту склонность Достоевскаго и видѣть помѣшанныхъ во всѣхъ, или въ большинствѣ его героев — значитъ невѣрно понимать великаго романиста. Творчество его всегда вращается въ области потрясающихъ жизненныхъ столкновеній, и оттого герои его зачастую находятся подъ вліяніемъ душевнаго аффекта — въ спокойномъ состояніи преступленій и самоубійствъ вѣдь не совершается.

Эта тревожная возбужденность его дѣйствующихъ лицъ, подмѣченная имъ съ поразительнымъ мастерствомъ, и вызвала ходячее мнѣніе, будто въ романахъ Достоевскаго передъ нами выступаютъ разнообразныя виды помѣшательства. Едва-ли здѣсь его поразительная чуткость не сослужила ему плохую службу. Надо лишь вдуматься поглубже въ затаенный душевный процессъ, совершающійся

у его героевъ, и не останется сомнѣній, что мы имѣемъ дѣло не съ картиной помѣшательства, а лишь съ паразитическимъ ясновидѣніемъ художника. Неосновательно было бы взваливать на него отвѣтственность за несовершенство нашего собственного духовнаго зрѣнія.

Какъ бы то ни было, въ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“ признаковъ этой необыкновенной прозорливости нѣтъ. Чувства, мысли, поступки дѣйствующихъ лицъ не только мотивированы недостаточно, — они зачастую освѣщены невѣрно. Такихъ болтливыхъ злодѣевъ, такихъ недалекихъ хитрецовъ, какъ старый князь, въ дѣйствительности не бываетъ. Рѣдко встрѣчаются въ жизни и люди съ такой овечьей наивностью, какъ самъ герой. А слабохарактерные глупцы, вродѣ Алеши Валковскаго, хоть и встрѣчаются сплошь и рядомъ, — по своей ничтожности не стоятъ вниманія крупнаго писателя.

Настоящую славу Достоевскаго создало „Преступленіе и наказаніе“. Вопреки установившемуся мнѣнію, я не могу въ героѣ этого романа — *Раскольниковѣ* — признать душевно-больнаго: мнѣ сдается, напротивъ, что не только всѣ его поступки, но всѣ мельчайшія движенія его глубоко потрясенной души неумолимо правдивы и слѣдуютъ другъ за другомъ съ поразительной логикой. И въ равной мѣрѣ я вынужденъ отвергнуть другую очень распространенную оцѣнку Раскольникова — будто онъ выведенъ Достоевскимъ, какъ представитель молодежи 60-хъ годовъ. Въ томъ обстоятельствѣ, что Раскольниковъ написалъ статью, оправдывающую преступленіе, когда оно совершено крупною личностью, нѣкоторые критики упорно хотятъ видѣть тенденціозное обличеніе матеріализма. Достоевскій, будто, хотѣлъ сказать молодежи: „посмотрите, къ чему ведутъ ваши излюбленныя доктрины; ихъ логическое послѣдствіе — убійство съ корыстной цѣлью!“

Между тѣмъ, едва-ли такая мысль приходила въ голову великому писателю. Нельзя прежде всего не признать, что теорія, приписываемая Раскольникову, — теорія мнимаго права крупной личности на преступленіе, — неоднократно проводилась какъ у насъ, такъ и за границей. Изъ этого же еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы Достоевскій приписалъ этотъ взглядъ своему герою съ цѣлью нагляд-

но показать ужасающіе выводы, къ которымъ приводитъ материализмъ. Незачѣмъ обвинять Достоевскаго въ такой напрасной и плоской клеветѣ, когда напрашивается совершенно иное объясненіе. Взглядъ Раскольникована на законность убійства введенъ въ рассказъ не для того, чтобы унижить молодое поколѣніе, а для того, чтобы въ извѣстной степени оправдать самого героя. Не простая алчность грабителя руководила имъ, а признаніе за талантливымъ человѣкомъ права обезпечить себя отъ нужды, чтобы имѣть досугъ для умственной работы. Это, пожалуй, дико, нелѣпо, но это все же мотивъ до нѣкоторой степени идеальный. Отчего, въ самомъ дѣлѣ, Раскольниковъ не кажется намъ гнуснымъ злодѣемъ, несмотря на всю гнусность совершеннаго имъ дѣла и на долгія его старанія уйти отъ заслуженной кары? Оттого, конечно, что онъ мучится ужаснымъ воспоминаніемъ о своемъ убійствѣ, которымъ и не воспользовался вовсе. Но оттого также, что, совершая это убійство, онъ не одинъ только голодъ хотѣлъ утолить, а чувствовалъ въ себѣ умственные силы, которымъ при его обстановкѣ нельзя было развернуться. И когда онъ усумнился въ этихъ силахъ, охота бороться въ немъ мигомъ исчезла, и онъ пошелъ съ повинной въ полицейскій участокъ.

Подтвердить эту догадку можно ссылкой на извѣстный романъ Бульвера „Юджинъ Арамъ“— произведеніе тоже очень крупное и до извѣстной степени параллельное „Преступленію и наказанію“.

Арамъ такой же бѣднякъ, какъ Раскольниковъ, и, подобно ему, совершаетъ убійство, чтобы пріобрѣсти средства на свои ученые занятія. Идеальный мотивъ и здѣсь лежитъ въ основѣ злодѣйскаго поступка, и, путемъ ряда добросовѣстныхъ софизмовъ, доводитъ героя Бульвера до убѣжденія въ своемъ правѣ убить. И результатъ получается одинаковый—въ душѣ читателя къ чувству ужаса присоединяется глубокая жалость. Строго говоря, нельзя даже Раскольникована признать за полнаго матеріалиста. Онъ одинъ изъ числа тѣхъ, у которыхъ материализмъ сидитъ только въ умѣ, не коснувшись сердца, которые чувствуютъ наперекоръ своимъ мыслямъ.

Такихъ людей отвлеченная логика можетъ довести до преступленія, но въ собственной душѣ они носятъ неумолимаго судью, который покараетъ ихъ строже, чѣмъ можетъ это сдѣлать судъ общества. Раскольниковъ потому и крупное созданіе, что онъ не исчерпывается эпохой, что на немъ Достоевскій изучилъ вѣчно совершающійся въ человѣческой душѣ болѣзненный процессъ раскаянія, когда эта душа не зачерствѣла. Раскольниковъ, несомнѣнно, принадлежитъ къ своему поколѣнію, но онъ переросъ это поколѣніе и волновавшія его тревоги—переросъ вѣчностью того психологическаго явленія, которое въ немъ совершается.

То же надо сказать и о прочихъ фигурахъ романа— о Мармеладовѣ, о Сонѣ, о Екатеринѣ Ивановнѣ, о Свидригайловѣ. Всѣ они страдаютъ отъ неисцѣлимой болѣзни,—и болѣзнь эта не повѣтріе, вызванное условіями времени. И опять-таки смотрѣть на нихъ съ психіатрической точки зрѣнія, очевидно, нельзя. Душевно-больна одна только мать Сони—и то только вслѣдствіе страшныхъ перенесенныхъ ею потрясеній. Она не въ силахъ примирится съ ужасающимъ контрастомъ—между своей наивной гордостью, съ которой носится, какъ съ послѣднимъ утѣшеніемъ, и долгимъ гнетомъ униженія. Ея разумъ погибаетъ въ борьбѣ съ этимъ униженіемъ, и прежняя гордость переходитъ въ ребяческую манію величія. И здѣсь мы имѣемъ дѣло съ опредѣленною формою помѣшательства,—въ несчастной женѣ Мармеладова совершается острый процессъ духовнаго крушенія, — до того острый, что въ нѣсколько часовъ онъ приводитъ ее къ смерти. Ни Мармеладовъ, ни Свидригайловъ, при всей яркой гнусности ихъ жизни, ничуть не помѣшанные и, въ то же время, не безусловно дурные люди. Въ каждомъ изъ нихъ порочная склонность, — пьянство у Мармеладова, развратъ у Свидригайлова—доведены до той степени, при которой уродливость становится типичной, стало быть до нѣкоторой степени идеальной. Въ этомъ отношеніи ихъ можно поставить наряду съ Обломовымъ: подобно послѣднему они переходятъ за предѣлы обыденной реальности, они порочнѣе самаго порока; эта сила изображенія какъ будто даже стираетъ съ нихъ грязь. И благодаря этой силѣ, ихъ тоже,

какъ Раскольниковъ, нельзя считать продуктомъ эпохи. Рѣдко случается, чтобы писателю въ одномъ произведеніи удалось создать нѣсколько фигуръ въ такой мѣрѣ ярко типичныхъ. Неудивительно, что „Преступленіе и наказаніе“ поразило всѣхъ при своемъ появленіи. Какъ ни великъ считался талантъ Достоевскаго, подобной выпуклости рисунка и отъ него не ожидали.

Такимъ же вѣчнымъ типомъ является и Соня Мармеладова. Только ея типичность не въ бытовой, не во внѣшней сторонѣ ея жизни, а, если можно такъ выразиться, въ той идеальной концепціи, на которой построены ея характеръ. Много имѣется особенно во французской литературѣ, фигуръ поэтизированныхъ развратницъ, и всѣ они написаны на тему, сводящуюся къ тому, что развратъ, когда онъ не затрагиваетъ души, оставляетъ женщину чистой. Одного сравненія этихъ фигуръ, представляющихъ рядъ попытокъ возвеличить падшую женщину, съ кроткою героиней Достоевскаго, вполне достаточно, чтобы оцѣнить превосходство его пониманія характера Сони. Онъ не старается отъ читателя скрадывать уродливость ея жизни, не дѣлаетъ никакихъ попытокъ облагородить и приподнять Соню мнимо-очищающею страстью, не придаетъ ей никакой риторичной ходульности. Онъ ограничивается тѣмъ, что мотивомъ паденія Сони выставляетъ нужду, и не ея собственную, а ея семьи, ея братишекъ и сестреночекъ; и что, сохраняя въ ней полное сознаніе окружающей ее грязи, онъ показываетъ Соню, не перестающую искренно вѣрить и молиться. Образъ этой вѣчно кающейся дѣвушки изъ-подъ иного пера могъ бы выйти комичнымъ. У Сони Мармеладовой столько неподдѣльнаго смиренія, что у читателя даже не зарождается вопроса, законны-ли его симпатіи къ ней, и заодно съ Раскольниковымъ, онъ готовъ воскликнуть: „Я не тебѣ поклонился, я всему страданію человѣческому поклонился“. О положительныхъ фигурахъ романа — о матери Раскольниковъ, о его сестрѣ Дунѣ и пріятелѣ Разумихинѣ — говорить не приходится. Все это совершенно простые, честные и здоровые люди, написанные прекрасно, но до того здоровые и простые, что ни малѣйшаго вопроса они не затрагиваютъ.



Что же касается до идеальнаго слѣдователя Порфірія—это вовсе не характеръ, а ходячая слѣдственная власть, доведенная до такого совершенства, котораго у насъ она едва-ли когда-нибудь достигала.

Перейдемъ къ „*Бѣсамъ*“ — къ этому воинствующему роману, заслужившему своему автору кличку реакціонера. При несомнѣнной тенденціозности, „*Бѣсы*“ наряду съ „Преступленіемъ и наказаніемъ“ и „Братьями Карамазовыми“,—одно изъ трехъ крупнѣйшихъ произведеній Достоевскаго. Оно крупно и по достоинствамъ своимъ, и по недостаткамъ. Фабула не только сложна и запутана до крайности, но воображенію читателя сплошь и рядомъ приходится дополнять существенные пробѣлы въ разсказѣ. Особенно загадочной является личность главнаго героя — Николая Ставрогина, для разъясненія которой предоставлено уже слишкомъ много простора читательской фантазіи. Есть, правда, какая-то особенная прелесть въ этой загадочности. Въ „*Бѣсахъ*“ же этотъ приѣмъ, вообще свойственный Достоевскому, доведенъ до того, что нѣкоторые изъ главныхъ моментовъ романа вовсе не мотивированы предыдущимъ его ходомъ. Такова, между прочимъ, заключительная любовная сцена между Ставрогинымъ и Лизой, послѣ которой они расстаются почти врагами, и Лиза въ сырое осеннее утро выбѣгаетъ полуодѣтая на улицу изъ ставрогинскаго дома. Да и всѣ прошлыя отношенія Ставрогина къ другимъ дѣйствующимъ лицамъ остаются до такой степени не разъясненными, что является вопросъ, не выкинулъ-ли Достоевскій изъ своего романа нѣсколько существенныхъ главъ.

Впрочемъ, и въ судьбѣ другихъ лицъ, выведенныхъ въ „*Бѣсахъ*“, много остается темнаго. Такова, напримѣръ, вся фигура Марьи Тимофеевны, тайной жены Ставрогина, и въ особенности исторія ея страннаго замужества. Таковы отношенія Петра Верховенскаго къ Кирилину и причина его непонятной власти надъ бѣднымъ полупомѣшаннымъ энтузіастомъ. Таково, наконецъ, положеніе самого Верховенскаго въ городѣ, гдѣ онъ одновременно играетъ роль приближеннаго къ губернатору и главы революціоннаго кружка. Цѣлая половина романа уходитъ, такимъ образомъ, въ полутьму, словно жизнь его героевъ должна

оставаться для читателя такою же тайной, какой остается для властей организациа революціоннаго общества. Всего болѣе недоразумѣній вызываетъ мелодраматическій конецъ романа, гдѣ катастрофы разряжаются одна за другой, какъ громовые удары въ лѣтнюю грозу. Въ ту самую ночь, когда разбойникъ Федька Каторжный убиваетъ Марью Тимофеевну, Лиза отдается Ставрогину въ его загородномъ домѣ и, вслѣдъ затѣмъ, становится жертвою слѣпой народной мести. Такое накопленіе ужасовъ годится (развѣ для опернаго финала, тѣмъ болѣе, что трагическая смерть Лизы не только сама по себѣ неправдоподобна, но рѣзко противорѣчитъ самому духу русскаго народа. Французская рабочая толпа могла бы выместить убійство женщины на любовницѣ того человѣка, котораго она заподозрѣла въ этомъ убійствѣ. Но едва-ли такое проявленіе ярости соотвѣтствуетъ нашему сѣверному темпераменту?

Недостатки „Бѣсовъ“, повторяю, очень крупны. Но ихъ искупаютъ съ избыткомъ качества романа, его потрясающій интересъ, мастерство, съ какимъ изображены главные характеры, и въ особенности глубина мысли, которой преисполнены почти всѣ его сцены.

Ни въ одномъ изъ прочихъ своихъ произведеній, развѣ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, Достоевскій не высказалъ такъ много оригинальныхъ и мѣткихъ сужденій, не развернулъ передъ нами души своихъ героевъ съ такимъ поразительнымъ, даже потрясающимъ ясновидѣніемъ. Отличаются „Бѣсы“ и еще однимъ достоинствомъ, довольно рѣдкимъ у Достоевскаго—блестящимъ юморомъ, образцомъ котораго можетъ служить знаменитая сцена засѣданія революціоннаго кружка. Комизмъ этой сцены совершенно неподдѣльный и нигдѣ не доходитъ до шаржа, отъ котораго не свободно другое мѣсто въ романѣ,—описаніе благотворительнаго концерта. Изъ всѣхъ обличительныхъ произведеній беллетристики, направленныхъ противъ уродливостей нашего радикализма. „Бѣсы“ наиболѣе правдивое и яркое. Оттого то, должно быть, несмотря на все негодованіе, вызванное ими въ передовомъ лагерѣ, критика отнеслась къ нимъ очень осторожно, почти боязливо. Изобличенные почувствовали силу удара и пробовали об-

винить Достоевскаго лишь въ томъ, что фабулу своего романа онъ всецѣло извлекъ изъ Нечаевскаго процесса, притомъ намѣренно изуродовавъ его главныхъ участниковъ. Нельзя не замѣтить, что оба эти обвиненія какъ будто противорѣчатъ другъ другу. Въ дѣйствительности ни то, ни другое невѣрно. Убійство студента Иванова, конечно, послужило темой для Достоевскаго, сдѣлалось для него, такъ сказать, исходнымъ стимуломъ. Изъ этого же еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы Достоевскій представилъ въ „Бѣсахъ“ не болѣе, какъ переложеніе Нечаевской исторіи на каррикатурный ладъ. Онъ поступилъ такъ, какъ до него поступали всѣ геніальные писатели. Дѣйствительное событіе дало толчекъ его фантазіи, но, переработывая его въ романъ, онъ не просто воспроизводилъ сырой фактъ, выхваченный изъ революціоннаго броженія, а переработалъ этотъ фактъ, придавъ ему характеръ типичности. Когда политическое движеніе ограничено довольно тѣснымъ кругомъ дѣятелей, нѣтъ возможности обойтись безъ воспроизведенія индивидуальныхъ чертъ, принадлежащихъ дѣйствительнымъ лицамъ. Вотъ почему въ личности Петра Верховенскаго могло встрѣтиться нѣкоторое сходство съ Нечаевымъ. Достоевскій все-таки не скопировалъ фізіономію агитатора, а возсоздалъ его фигуру самостоятельно, открывъ передъ нами весь его сложный психологическій образъ. И поступая такъ, онъ пользовался не одними данными уголовнаго слѣдствія, а въ своей фантазіи переработалъ фигуру Нечаева. И нельзя сказать, чтобы онъ поскупился на яркія, даже на блестящія черты. Верховенскій негодяй, это правда, но обладаетъ онъ недюжинными способностями и силой воли необыкновенной. И еслибы всѣ коноводы движенія 70-хъ годовъ были равны ему по дарованіямъ, оно могло бы повести къ послѣдствіямъ несравненно болѣе крупнымъ.

И одна искупающая черта все-таки имѣется у Верховенскаго — черта, притомъ, очень рѣдкая. Онъ искренній энтузіастъ, и холодность ума не умѣряетъ горячности его увлеченій.

Шатовъ—жертва Верховенскаго совсѣмъ уже не похожъ на бѣднаго Иванова. Достоевскій поручилъ ему въ романѣ гораздо болѣе крупную роль, чѣмъ была роль

Иванова въ революціонномъ кружкѣ. Онъ сдѣлалъ изъ него носителя своихъ идей и, въ особенности того идеала всепрощенія, съ которымъ всегда носился Достоевскій. Стоитъ вспомнить великолѣпную сцену между Шатовымъ и его виновной женой, когда онъ принимаетъ ее къ себѣ въ домъ наканунѣ своей мученической смерти. Нельзя не видѣть параллелизма между душевнымъ процессомъ, совершающимся у Шатова, когда онъ отказывается отъ своего революціоннаго прошлаго, и перерожденіемъ самого Достоевскаго на сибирской каторгѣ.

И прочіе болѣе мелкіе революціонные дѣятели, вплоть до барышни, пріѣхавшей изъ Петербурга, чтобы протестовать отъ имени студентовъ, написаны все съ тѣмъ же яркимъ мастерствомъ. Ни одного фальшиваго штриха, ни тѣни перерисовки, даже въ фигурахъ совершенно комическихъ. И что за убійственный контрастъ между силою натуры Верховенскаго, между преступленіями, на которыя онъ идетъ не обинуясь, и жалкими даже смѣшными средствами, къ которымъ онъ вынужденъ прибѣгать, какъ на-примѣръ, распространяемая имъ стихотворенія о „свѣтлой личности“ и скандалъ устроенный на концертѣ.

Не менѣе ярки и правдивы фигуры лицъ, не участвующихъ въ движеніи. Губернаторъ фонъ-Лемке—этотъ образецъ административной безтолковости, отецъ Петра Верховенскаго Степанъ Трофимовичъ отставной выдохшійся либераль 40-хъ годовъ, — и мать Ставрогина, Варвара Петровна, совершенно бездушная, хоть и умная эгоистка, какъ всѣ женщины, которымъ пришлось жить лишь умомъ и гордостью. Слабѣе прочія женскія фигуры — Марья Тимофеевна, сестра Шатова Дарья и, въ особенности, сама героиня романа Лиза, вышедшая даже не совсѣмъ ясной. Молодыя женщины, впрочемъ, если онѣ не подростки, словомъ, рѣдко удаются Достоевскому.

Мнѣ осталось сказать нѣсколько словъ о Николаѣ Ставрогинѣ. Одной его фигуры достаточно, чтобы опровергнуть мнѣніе, будто Достоевскій въ „Бѣсахъ“ ограничился воспроизведеніемъ Нечаевскаго процесса. Ставрогинъ выдуманъ Достоевскимъ съ головы до ногъ и, сказать правду, едва-ли имѣлъ себѣ подобныхъ во время 70-хъ годовъ. Онъ напоминаетъ демагоговъ изъ аристократовъ

въ романахъ Жоржъ-Занда, Еженя Сю, Карла Гуцкова и Шпильгагена. Это „рыцарь духа“ чистѣйшей воды, запоздалый отпрыскъ 40-хъ годовъ, только 40-хъ годовъ не русскихъ, а иностранныхъ. Богатый, избалованный баринъ, презирающій всѣхъ въ томъ числѣ и себя, дѣлающійся революционеромъ отъ скуки, женящійся на полусумасшедшей мѣщанкѣ, на этой гордой мегерѣ, способный на все, даже на гнусное преступленіе, и все-таки не лишенный нѣкотораго великодушія — это лишь на половину русскій человѣкъ, русскій лишь по утонченному самодурству. Гражданинъ кантона Ури, вѣрящій въ революцію такъ же мало, какъ и во все остальное, нелѣпо кончающій жизнь самоубійствомъ, когда она ему давала полную чашу наслажденій, Ставрогинъ гораздо ближе къ героямъ первой эпохи западнаго романтизма, къ байроновскому „Корсару“, къ „Эрнани“ Виктора Гюго, къ шиллеровскому „Фіеско“, чѣмъ даже къ фигурамъ Пушкина и Тургенева. Если всѣ его подвиги сводятся къ тому, что онъ грубо насмѣялся въ клубѣ надъ двумя — тремя городскими тузами, виновать въ этомъ не онъ самъ — онъ весь жаждетъ сильныхъ впечатлѣній — виновата бѣдная русская дѣйствительность, гдѣ даже въ революціонной агитаціи нѣтъ мѣста такимъ аристократическимъ Донъ-Жуанамъ. Однимъ онъ отличается отъ героевъ чистаго романтизма — онъ гораздо циничнѣе и грубѣе, и сверстниковъ ему (не по духу, правда, — по духу онъ чистокровный сынъ Байрона) — а по наклонностямъ и поведенію -- надо искать въ романахъ молодой Германіи, гдѣ романтической идеаль нѣсколько заразился буржуазнымъ скептицизмомъ и буржуазными вкусами, и гдѣ Донъ-Жуанамъ зачастую приходилось искать приключеній на улицѣ.

Оцѣнка читающей публики всегда была справедлива къ Достоевскому. Два его романа „Идіотъ“ и „Подростокъ“ не имѣли успѣха и, дѣйствительно, стоятъ гораздо ниже „Преступленія и наказанія“ и „Бѣсовъ“. Одинъ изъ нихъ „Подростокъ“ — едва-ли не самый неудачный и безыдейный изъ крупныхъ романовъ Достоевскаго. Это запутанная исторія объ отношеніяхъ незаконнаго сына къ своему отцу — отношеніяхъ, въ которыхъ глухая ненависть страннымъ образомъ примѣшивается къ горячей, хотя и подав-

ленной любви. Тема не лишена интереса, но разработана, повидимому, съ такой поспѣшностью, что даже въ фантазіи автора не успѣла сложиться въ ясные и опредѣленные образы. Читатель на меня, вѣроятно, не посѣтуетъ, если я объ этомъ романѣ здѣсь говорить не буду. Однако на „Идіотъ“, хотя онъ тоже плодъ незаконченнаго, такъ сказать, не остывшаго творчества, остановиться слѣдуетъ.

Въ „Идіотѣ“ мы встрѣчаемся съ тѣми же недостатками, которые были уже мною отмѣчены въ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“. Характеры, правда, гораздо ярче и выпуклѣе, но, къ сожалѣнію, многіе изъ поступковъ дѣйствующихъ лицъ совсѣмъ не вытекаютъ ни изъ ихъ душевныхъ свойствъ, ни изъ взаимнаго ихъ положенія. Мотивировка здѣсь отсутствуетъ еще въ большей степени, чѣмъ въ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“. И къ этимъ недостаткамъ прибавляется еще одинъ. Слогъ до крайности неряшливъ и неизященъ. Достоевскаго часто упрекали за необработанность стиля, и упрекали несправедливо. Языкъ его не имѣетъ художественной отдѣлки тургеневскаго или гончаровскаго слога и лишень оригинальной образности языка Толстого. Достоевскій, вообще говоря, не описательный, стало быть не пластическій художникъ. Во всемъ же, что касается психическихъ движеній и анализа чувствъ, онъ всегда находитъ подходящее мѣткое, сильное выраженіе. Его немного тусклый языкъ становится въ разговорѣ, особенно въ разговорѣ страстномъ, чрезвычайно гибкимъ и живымъ. Единственное исключеніе составляетъ „Идіотъ“, въ этомъ уступающій даже „Подростку“. Форма здѣсь неуклюжа до того, что не слѣлала бы чести и начинающему писателю. И все-таки „Идіотъ“ заслуживаетъ вниманія. Нигдѣ идея всепрощенія не высказана Достоевскимъ такъ ярко и своеобразно. Характеръ князя Мышкина, составляющій какъ бы перифразу евангельскаго изреченія о нищихъ духомъ, приближаетъ Достоевскаго къ идеалу Толстого, выраженному въ Платонѣ Каратаевѣ, съ тѣмъ лишь различіемъ, что характеръ Мышкина построенъ на почвѣ болѣзни. Въ сущности Мышкинъ вовсе не „идіотъ“ — по мнѣнію автора, онъ даже наиболѣе умный изъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа — но онъ совершенно лишень способности воспринимать жизненные впе-

чатлѣнія въ ихъ обыденномъ, общепринятомъ смыслѣ. Я намѣренно здѣсь избѣгаю прилагательнаго „условный“, хотя совершенно очевидно, что Достоевскій имѣлъ какъ какъ разъ въ виду поступки своего Мышкина противопоставить ходячей условности. Если же, пожалуй, можно еще понять, что герой „Идіота“, только-что пріѣхавшій въ Петербургъ, отдаетъ совершенно незнакомому прощальныя Фердющенко свои единственные 25 рублей, что, получивъ отъ Гани Иволгина пощечину, онъ вовсе не чувствуетъ себя оскорбленнымъ, терпѣливо выслушиваетъ дерзости ворвавшихся къ нему нигилистовъ, то въ двухъ существенныхъ моментахъ разсказа его поведеніе совершенно непонятно. Непонятно, какимъ образомъ, послѣ того, какъ разстроилась его свадьба съ Аглаей Епанчиной, онъ вдругъ женится на Настасьѣ Филипповнѣ и потомъ, едва съ нею обвѣнчавшись, спокойно даетъ ее увезти своему пріятелю, купцу Рогожину. Мышкинъ едва-ли ощущалъ когда-либо чувство любви къ женщинѣ. Не любилъ онъ, вѣроятно, ни первой, ни второй своей невѣсты. Но въ такомъ случаѣ, какъ объяснить его странную женитьбу?

И если побудило его стать мужемъ Настасьи Филипповны какое-то совсѣмъ особое, неизвѣстное прочимъ людямъ, идеальное чувство жалости къ падшей женщинѣ, какъ могъ онъ хладнокровно снести нанесенную ему кровную обиду?

Даже его незлобивая натура должна была возмутиться поступкомъ Рогожина и неожиданнымъ бѣгствомъ Настасьи Филипповны.

Еще болѣе непонятна заключительная сцена романа — правда, очень эффектная въ своемъ ужасѣ, но психологически совершенно невозможная. Мышкинъ идетъ отыскивать бѣжавшую отъ него жену и, найдя ее зарѣзанною Рогожинымъ, садится рядомъ съ убійцей у похолодѣвшаго трупа и всю ночь проводитъ въ этомъ страшномъ обществѣ. Не мудрено, что слабый разсудокъ Мышкина не выдержалъ, и онъ вышелъ изъ дома Рогожина сумасшедшимъ. До этого момента Достоевскій рисуетъ его не такимъ: мягкая человѣчность больного князя должна бы отозваться хотя бы состраданіемъ къ жертвѣ и еще болѣе, можетъ быть, къ убійцѣ. Въ этой развязкѣ все одинаково невоз-

можно — и поведеніе Настасьи Филипповны, и тупое хладнокровіе Мышкина, и кровавый поступокъ Рогожина. Рогожинъ только страстный и буйный, а несумасшедшій человекъ, и когда, наконецъ, послѣ долгихъ страданій, любимая женщина была въ его власти, — съ какой стати зародилась въ немъ дикая мысль объ убійствѣ?

Несмотря на всѣ эти крупные недочеты, „Идіотъ“ все-таки недюжинное произведеніе. Не говоря уже о глубокой идеѣ, воплощенной въ личности Мышкина — идеѣ, положимъ, не совсѣмъ выдержанной — нѣкоторые изъ прочихъ характеровъ — генеральша Епанчина со своей дочерью Аглаей, Фердыщенко, наконецъ, русская гетера Настасья Филипповна — написаны очень сильно и бойко. Удаченъ и старый враль генералъ Иволгинъ въ своей нѣсколько преувеличенной комичности, а нѣкоторыя сцены романа, напри мѣръ, конецъ первой части, гдѣ Настасья Филипповна бросаетъ въ каминъ привезенные ей Рогожинымъ сто тысячъ — написаны Достоевскимъ съ обычнымъ мастерствомъ. Есть въ „Идіотѣ“ и въ высшей степени трогательное мѣсто, показывающее, что даже своихъ политическихъ враговъ Достоевскій умѣлъ любить — раскаяніе, охватившее передъ смертью чахоточнаго нигилиста Ипполита, когда оскорбленный имъ Мышкинъ съ такою почти женственной нѣжностью за нимъ ухаживаетъ. Взрывы крупнаго таланта, даже геніальности, чередуются, такимъ образомъ, въ этомъ романѣ съ цѣлымъ рядомъ страницъ, написанныхъ вяло, торопливо, необдуманно.

„*Братья Карамазовы*“ — послѣдній изъ большихъ романовъ Достоевскаго, въ то же время и самый крупный изъ нихъ, какъ по широтѣ захвата, такъ и по силѣ драматизма. А между тѣмъ мы имѣемъ въ этомъ романѣ лишь часть незавершеннаго литературнаго произведенія, созданнаго вдобавокъ совершенно вопреки законамъ художественной архитектуры. „*Братья Карамазовы*“ напоминаютъ собою тѣ недостроенныя средневѣковыя итальянскія церкви, въ которыхъ успѣли додѣлать одинъ только фасадъ, и все-таки эти неоконченные храмы грандіознѣе и лучше самыхъ роскошныхъ современныхъ зданій. Изъ первыхъ же словъ вступительной главы видно, что первоначальнаго своего замысла Достоевскій не выполнилъ. Этотъ замыселъ да-



вилъ его, должно быть, колоссальными размѣрами. Существуетъ догадка, что настоящимъ героемъ романа долженъ былъ сдѣлаться Алеша—младшій изъ Карамазовыхъ— и что характеръ его долженъ былъ въ послѣдствіи развиться не въ сторону религіознаго мистицизма, наполняющаго его кроткое, юное сердце.

На это есть указаніе въ самомъ романѣ: Достоевскій относитъ убійство Карамазова-отца къ давно прошедшему времени, хотя въ послѣдней части, въ рѣчи защитника Дмитрія, много намековъ на факты, современные появленію романа, то есть относящіеся къ концу 70-хъ годовъ. Этотъ анахронизмъ объясняется тѣмъ, что планъ автора и его отношеніе къ своему герою, современемъ измѣнились. Нельзя тоже допустить, чтобы Достоевскій безъ причины вывелъ цѣлую группу подростающихъ мальчиковъ, одинъ изъ которыхъ, Коля, носитъ въ себѣ уже задатки будущаго революціонера. Его симпатичная натура, кстати сказать, наглядно показываетъ, что Достоевскій готовъ былъ признать хорошія, даже привлекательныя черты и въ той части молодежи, которая захвачена движеніемъ. Все это, конечно, онъ собирался развить въ послѣдствіи, и намъ предстояло увидать широкую картину умственнаго броженія 70-хъ годовъ, съ богатымъ разнообразіемъ индивидуальныхъ характеровъ. Та молодая экзальтація, тотъ юный революціонный идеализмъ, представителемъ котораго можетъ служить Коля, гораздо болѣе свойственъ началу 60-хъ годовъ, чѣмъ концу 70-хъ. И едва-ли можно допустить, чтобы примирительная бодрая рѣчь Алеши, которой заканчивается романъ, должна была, по первоначальному замыслу автора, служить ему заключительнымъ аккордомъ. Что самъ Алеша предназначался для иной, не столь миролюбивой роли, видно уже изъ самой фамиліи Карамазовъ, слишкомъ напоминающей одно несчастное и зловѣщее имя. Какъ бы то ни было, все это лишь догадки, и Достоевскій не оставилъ намъ прямыхъ доказательствъ своихъ первоначальныхъ намѣреній. Должно быть, чистая натура Алеши увлекла его, и онъ захотѣлъ остановиться на первой стадіи развитія своего героя, когда весь онъ былъ одна теплая и кроткая вѣра. Уголъ зрѣнія автора постепенно измѣнялся, и центръ тяжести переходилъ отъ Але-

ши къ его старшему брату—отъ политической къ семейной драмѣ.

И въ этомъ, такъ сказать, усѣченномъ видѣ романъ представляетъ картину огромнаго интереса. Фигуры трехъ братьевъ символизируютъ какъ бы все умственное состояніе Россіи. Двое старшихъ представляютъ собою двѣ главныхъ болѣзни общества — недугъ воли въ лицѣ Дмитрія, въ которомъ олицетворяется нравственная распущенность, недугъ мысли въ лицѣ Ивана, зараженнаго умственнымъ шатаніемъ,—третій, младшій братъ — представитель здоровой Россіи, которую Достоевскій видитъ въ народной вѣрѣ и въ кроткой, всепрощающей любви. Для нравственной болѣзни есть выздоровленіе—оно въ безропотномъ смиреніи передъ незаслуженною карою,—незаслуженною, какъ наказаніе за мнимую вину, но вполнѣ соответствующею цѣлой безпутно проведенной жизни. Для умственной болѣзни такого выздоровленія нѣтъ. Въ сущности, приличный и сдержанный Иванъ оказывается виновнѣ своего распутнаго брата, такъ какъ мысленно онъ былъ соучастникомъ въ убійствѣ отца. Паденіе умственныхъ устоевъ—такъ думаетъ Достоевскій—влечетъ за собою и заразу для совѣсти. И отъ этой заразы нѣтъ уже спасенія. Даже раскаяніе не помогаетъ — въ больную душу оно вноситъ лишь новую смуту. Колебля въ ней безвѣріе, оно приноситъ съ собою лишь отчаяніе для сердца и галлюцинацію, почти сумасшествіе, для ума.

Вотъ что хотѣлъ сказать Достоевскій своимъ послѣднимъ романомъ.

Нечего и говорить, съ какимъ блескомъ онъ выполнилъ свою задачу. Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ такое разнообразіе психическихъ мотивовъ, въ нихъ такая полная симфонія разыгрывается на всѣхъ струнахъ человѣческой души, что въ сравненіи съ ними блѣднѣетъ даже такая крупная и могучая вещь, какъ „Преступленіе и наказаніе“. Въ этомъ романѣ разыгрывается все одинъ и тотъ же глубоко трагическій мотивъ. Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ словно цѣлый оркестръ разливаетъ передъ нами широкое море самыхъ разнообразныхъ звуковъ. Гадливое отвращеніе къ нравственной грязи Карамазова-отца, ужасъ въ сценѣ убійства, тревога во время ареста Дмит-

рія въ Мокромъ, глубокая сочувственная жалость къ исторіи бѣднаго мальчика и его пропавшей собаченки, напряженность ожиданія во время процесса, ѣдкая иронія во всемъ, что касается Ракитина и г-жи Хохлаковой, ясное религиозное чувство, наконецъ, въ предсмертной бесѣдѣ отца Зосимы — вотъ многообразныя ощущенія, которыя вызываютъ у читателя отдѣльныя моменты этого поразительно многосторонняго романа. И смѣхъ, и ужасъ, и негодованіе, и слезы—все это сумѣлъ затронуть и расшевелить Достоевскій. Въ этомъ отношеніи онъ превзошелъ даже въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ два большихъ романа Толстого—„Войну и миръ“ и „Анну Каренину“. Появись „Братья Карамазовы“ въ одной изъ иностранныхъ литературъ, гдѣ критика привыкла отзываться на всѣ художественныя явленія, цѣлые томы были бы написаны по ихъ поводу. У насъ они разработаны критикой пока довольно мало и для будущихъ изслѣдователей представляютъ цѣлый непочатый рудникъ. Самая многочисленность отступленій, какъ бы придающая роману нестройную внѣшность, усиливаетъ его интересъ. Эпизодъ съ мальчиками до того богатъ въ идейномъ смыслѣ и такъ много въ немъ самаго искренняго чувства, что самъ по себѣ онъ могъ бы составить отдѣльное, законченное произведеніе. Сцены въ монастырѣ даютъ полную живую картину мало изслѣдованнаго явленія русской монастырской жизни — именно, старчества. Изложеніе процесса Дмитрія обнаруживаетъ въ Достоевскомъ большого знатока судебныхъ порядковъ, а рѣчи прокурора и защитника могли бы служить образцами для специалистовъ. Наконецъ, поразительная по глубинѣ сцена галлюцинаціи Ивана даетъ ключъ къ самымъ потаеннымъ изгибамъ мысли самого Достоевскаго, раскрывая передъ нами его собственныя мучительныя сомнѣнія. Одной легенды о „Великомъ инквизиторѣ“ было бы довольно, чтобы доставить ея автору славу.

Объемъ настоящей книжки не позволяетъ подвергнуть анализу всѣ эти стороны послѣдняго романа Достоевскаго. Глава о „Великомъ инквизиторѣ“ нашла талантливую и мѣткую оцѣнку въ книгѣ г. Розанова. Я не вполнѣ, повторю еще, согласенъ съ почтеннымъ авторомъ: мнѣ сдается, что въ полной увѣренности въ превосходствѣ

ученія Христа не было у Достоевскаго, и съ грустью на сердцѣ онъ готовъ былъ признать, что слабому человѣчеству болѣе по плечу змѣиная мудрость инквизитора. Есть, конечно, сильное обличеніе католицизма въ томъ, что Достоевскій его ученіе отождествляетъ съ тремя совѣтами, данными Христу духомъ тьмы. При всемъ же томъ, авторъ кажется, не былъ вполне увѣренъ, кто остался побѣдителемъ въ спорѣ за человѣческую душу—сатана или Христосъ.

Это, конечно, очень безнадежный выводъ и хуже онъ, пожалуй, любого скептицизма. Привело же Достоевскаго къ этому выводу сомнѣніе не въ правдоту Бога, а въ достоинство человѣка. И тому, кто въ силахъ воспринять свѣтлый законъ Христа, авторъ сулитъ уже на землѣ полное спокойствіе, когда онъ чистъ, какъ отецъ Зосима и Алеша Карамазовъ или, по крайней мѣрѣ, умиротвореніе когда онъ кающійся грѣшникъ, какъ Дмитрій Карамазовъ.

---

*Выноска къ страницѣ 13-ой.*

\*) Въ исторіи врядъ-ли найдется другой примѣръ такого близкаго родства между двумя провозвѣстниками мистическаго ученія св. Францискомъ Ассизскимъ и графомъ Л. Н. Толстымъ. Даже въ личныхъ біографіяхъ двухъ названныхъ мыслителей находится много сходства. Оба—дѣти богатыхъ родителей, оба, въ концѣ концовъ, познаютъ тщету міра сего и, покинувъ всю эту тщету, ищутъ душевнаго удовлетворенія въ проповѣди нравственнаго ученія, у обоихъ въ общихъ чертахъ также много сходнаго. Въ результатахъ же ихъ пропаганды обнаруживается большая разница.

Францискъ училъ самолично, живымъ своимъ примѣромъ и словомъ породилъ цѣлый рядъ учениковъ и послѣдователей, которые продолжали его проповѣдь тѣми же путями. И эффектъ этой проповѣди въ свое время былъ чрезвычайный. Идеи св. Франциска, можно сказать, одно время почти совсѣмъ опрокинули существовавшій общественный строй. Люди самымъ подлиннымъ манеромъ отрекались отъ благъ міра сего, бросали свои богатства и дома и шли, въ свою очередь, либо на проповѣдь, либо въ монахи; даже ростовщики рвали свои документы и осво-

бождали изъ тюремъ своихъ должниковъ. И всетаки проповѣдь францисканцевъ не могла такъ глубоко и широко проникать въ массы, какъ проповѣдь Л. Н. Толстого. Его читаетъ весь цивилизованный мѣръ, и едва-ли кто-либо грамотный во всемъ свѣтѣ не ознакомленъ съ его идеями. Искреннихъ же, убѣжденныхъ послѣдователей, перешедшихъ отъ слова къ дѣлу, у него немного наберется. Отчего же это зависитъ? Оттого, что существуетъ *глубокая разница между личною проповѣдью и проповѣдью литературною.*

Живое слово и живой примѣръ дѣйствуетъ чрезвычайно глубоко, и это очень не трудно провѣрить на тысячахъ примѣрахъ. Солдаты лѣзутъ въ огонь за офицеромъ, который самъ впереди ихъ кидается въ бой; ему даже нѣтъ и надобности говорить имъ цѣлую рѣчь и доказывать съ ухищренными діалектическими приѣмами, сладость побѣды или славу честной смерти въ бою. Читатель же, хладнокровно вдумывающійся въ самую горячую литературную проповѣдь, можетъ вполне, отъ всей души, согласиться съ нею, но вдохновенія къ дѣйствию можетъ не получить ни малѣйшаго. Въ средніе вѣка никакая проповѣдь и не могла итти иначе, какъ устнымъ путемъ и чрезъ послѣдователей, въ наше же время стало почти наоборотъ. И въ этомъ наше спасеніе. Нѣкоторые писатели, какъ на примѣръ—Максъ Нордау, очень жалуются и жаловались на широкую литературную пропаганду всевозможныхъ новыхъ идей и видятъ въ этой проповѣди серьезную опасность для общества. Такіе же, какъ Ферреро, наоборотъ, видятъ въ литературной пропагандѣ, то есть именно въ томъ, что пропаганда стала исключительно литературною, самый надежный оплотъ общества отъ распространенія превратныхъ идей и ученій. Въ современномъ нервномъ обществѣ, измученномъ чрезмѣрнымъ трудомъ, истощенномъ злоупотребленіями разными возбуждающими напитками и рѣзкостью повседневныхъ впечатлѣній, найдется не мало субъектовъ, одержимыхъ ненормальными, болѣзненными склонностями. Эти склонности до благопріятнаго случая остаются скрытыми и одержимые ими живутъ себѣ, помаленьку, какъ говорится, не проявляя ничего зловерднаго. Случись же какой-нибудь внѣшній толчекъ, дѣй-

ствующій на такого челоуѣка подобно гипнотическому внушенію, и онъ тотчасъ заколобродитъ и натворитъ чего-нибудь. Вотъ для такихъ-то натуръ, которыхъ зловредное увлеченіе, такъ сказать, постоянно караулитъ и ловитъ, книга является спасительнымъ отводомъ; она даетъ имъ извѣстное удовлетвореніе, отвѣчаетъ на ихъ завѣтныя мечтанія, успокаиваетъ; онѣ могутъ бесѣдовать по поводу ея и въ этой бесѣдѣ отвести душу, не переходя отъ разговора къ дѣлу. Разумѣется, начисто отрицать вліяніе книги нельзя, вполне можно согласиться съ тѣмъ,—что на слабыхъ духомъ, на нервновозбужденныхъ, на очень податливыхъ внушенію, книга можетъ произвести сильное впечатлѣніе, можетъ поднять челоуѣка на ноги, заставить перейти изъ инертнаго состоянія въ дѣятельное. Но необходимо судить челоуѣческія дѣйствія по общей суммѣ добра или зла, какая ими можетъ быть причинена. Какіе бы безпорядки книга не произвела въ подобномъ податливомъ мозгу, всѣ же эти безпорядки будутъ безконечно меньше въ количественномъ и качественномъ отношеніи, чѣмъ прямое внушеніе словомъ или личнымъ примѣромъ. Нынѣшній способъ пропаганды идей, путемъ печатнаго слова, является самымъ надежнымъ оплотомъ противъ слишкомъ быстро и бурнаго распространенія нездоровыхъ мыслей. Личная проповѣдь, въ вѣка всеобщаго невѣжества, при отсутствіи всякихъ средствъ для обмѣна мыслей, кромѣ устнаго, поднимала сразу цѣлыя массы, вела къ громаднымъ переворотамъ; нынѣшняя литературная проповѣдь вызываетъ лишь ничтожное волненіе умовъ, находящее себѣ прямой и простой исходъ въ однихъ разговорахъ. Не будь этого легкаго и общедоступнаго средства иному носителю новыхъ идей излиться въ книгѣ, онъ, вынужденный къ личной пропагандѣ, надѣлалъ бы ею серьезныхъ безпорядковъ; теперь же, облегчивъ свою душу отъ гнета потребности къ проповѣди въ печатныхъ листкахъ, онъ успокаивается самъ, да и публику свою взволнуетъ въ тысячу разъ меньше, чѣмъ какой-либо Іоаннъ Лейденскій, не смотря на то, что его книгу могутъ прочесть десятки милліоновъ народа.

Льва Николаевича прочли не десятки милліоновъ народа, а сотни милліоновъ и онъ своими произведеніями

волновалъ и волнуетъ каждого, возбуждаетъ пытлиность ума, вскрываетъ и расширяетъ горизонты мышленія, но не доводитъ до безпорядковъ. Между тѣмъ, графъ Л. Толстой не меньшій мистикъ и моралистъ, чѣмъ былъ св. Францискъ Ассизскій.

Привелъ подобную выноску для учащихъ съ той цѣлью, чтобы могли примѣтить разницу между печатною проповѣдью идеи и ея устнымъ, личнымъ распространеніемъ самимъ проповѣдникомъ.

---





## Послѣсловіе.

---

Привычка авторовъ и издателей писать о характерѣ и содержаніи въ началѣ выпускаемаго произведенія—будь оно компилятивное, оригинальное, заимствованное или переводное. Я назвалъ привычкой подобный приемъ, такъ какъ на самомъ дѣлѣ ни одинъ авторъ, издатель, составитель и т. п. не пишетъ заранѣе, пока не закончитъ задуманнаго. А потому, полагаю, вѣрнѣе, по обыкновенію авторовъ съдой старины, помѣстить въ концѣ бѣглый обзоръ предпринятой работы и назвать не предисловіемъ, а послѣсловіемъ.

Пусть не подумаетъ читатель, что предъ нимъ Америка открыта или сѣверный полюсъ найдетъ въ области литературнаго критерія и разбора произведеній графа Льва Николаевича Толстого, до настоящихъ дней здравствующаго, и покойнаго Федора Михайловича Достоевскаго. Предъ читателемъ изложенъ мало извѣстный взглядъ на произведенія упомянутыхъ писателей критика-беллетриста К. Головина, мнѣніе котораго составителемъ по сличенію съ массой другихъ признается избраннымъ, и поэтому приводится.

Составитель, какъ послѣдователь школы незабвеннаго покойнаго педагога Стоюнина, позаботился о качествѣ, а не о количествѣ матеріала, выбралъ и обслѣдовалъ лишь самые рельефные и выпуклые типы изъ произведеній маститыхъ писателей, отмѣтилъ въ типахъ особенности, наиболѣе яркія и при томъ имѣющія значеніе психологическое и критическое.

Изъ самаго характера композиціи работы и расположенія матеріала просвѣщенный писатель подмѣтитъ, что *non multum, sed multa.*

Біографій преднамѣренно не приводилъ. Причина: извѣстность авторовъ и дабы не увеличивать объема работы и сдѣлать ее доступной для всѣхъ изучающихъ названныхъ писателей и интересующихся ими.

Составитель не сочинилъ, а научно провѣреннымъ критикой матеріаломъ воспользовался въ синтезо—исторической и психологической преемственности развитія и созданія литературныхъ произведеній названныхъ писателей.

Искреннее желаніе руководило интересующимся произведеніями графа Льва Николаевича Толстого и Федора Михайловича Достоевскаго дать правильное освѣщеніе и взглядъ на разбираемыя произведенія.

---